

РОБЕРТ РОЖДЕСТ- ВЕНСКИЙ

Большое собрание
стихотворений, песен и поэм
В ОДНОМ ТОМЕ



Полное собрание сочинений (Эксмо)

Роберт Рождественский

**Большое собрание стихотворений,
песен и поэм в одном томе**

«Эксмо»

2022

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Рождественский Р. И.

Большое собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе /
Р. И. Рождественский — «Эксмо», 2022 — (Полное собрание
сочинений (Эксмо))

ISBN 978-5-04-170803-0

Роберт Рождественский заявил о себе громко, со всей искренностью обращаясь к своим сверстникам, «парням с поднятыми воротниками», таким же, как и он сам, в шестидесятые годы, когда поэзия вырвалась на площади и стадионы. Поэт «всегда выделялся несдвигаемой верностью однажды принятым ценностям», по словам Л.А. Анненского. Для поэта Рождественского не существовало преград, он всегда осваивал целую Вселенную, со всей планетой был на «ты», оставаясь при этом мастером, которому помимо словесного точного удара было свойственно органичное стиховое дыхание. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-170803-0

© Рождественский Р. И., 2022
© Эксмо, 2022

Содержание

Стихотворения	9
«Флаги весны»	9
«Приходить к тебе...»	9
Море	9
В пути	11
«Девчонки опаздывают на свиданья...»	11
Последняя песня	13
Сатира о сатире	14
К вопросу о перестраховке	16
Как это начинается	17
«Испытание»	20
Утро	20
Выбор	22
В поезде	24
Речка иня	27
Ожидание	28
«Любовь...»	30
Отрывок из поэмы «Совесь»	31
Да, мальчики!	32
«Слова бывают грустными...»	35
О разлуке	35
Письмо домой	36
Странный февраль	38
Без тебя	39
По поводу	40
О временно прописанных	42
«Дрейфующий проспект»	48
«Я уехал...»	48
Облака	49
Немного экзотики	51
На дрейфующем проспекте ты живешь...	52
Подъем флага	54
«Восемьдесят восемь»	56
Хребет имени Ломоносова[1]	58
Горячий север	60
Аврал	60
Мираж	62
Нелетная погода	63
К вопросу о полярных «волках»	65
Ушел самолет	68
Летчики	69
Северное	71
Арктическая болезнь	72
«Не ревнуй меня к дороге...»	74
Ровесникам	75
«Некриливо и незаметно...»	77

Возвращение	78
«Необитаемые острова»	80
Часы	80
Людам, чьих фамилий я не знаю	81
Новости	83
Необитаемые острова	84
Сердце в руках	86
Тогда	87
В сорок четвертом	89
В защиту воспоминаний	90
Игра в «Замри!»	92
Ревность	93
Богини	95
«Будь, пожалуйста...»	96
Ливень	97
Жизнь	98
На плесе	99
«Полны подвалы Эгера...»	101
Чардаш	103
Взрослеют люди	104
Творчество	106
Аркадию Райкину	107
Окна, которые нарисованы	109
Париж, Франсуазе Саган	110
О дорогах	113
Вечер в горах	115
Памятник Пржевальскому	115
Стадион	116
Под водой	118
Рыбаки	119
«Ровеснику»	121
«Нахожусь ли в дальних краях...»	121
Сын Веры	121
Перед расставанием	123
Засуха	124
Рассказ директора районной конторы «заготзерно»	125
Твой голос	128
Таежные цветы	129
То, что встречается на каждом шагу	130
Варна	131
«Нахохлятся тяжелые колосья...»	133
«Что такое Нида...»	134
«Невероятное спасибо...»	135
«Песок размахнулся...»	136
«До самого горизонта...»	138
«Вы как хотите...»	139
«Отволнуюсь...»	139
Так и надо	141
«Я родился...»	141

Память	143
Старые фотографии	144
Концерт	146
«– Почем фунт лиха...»	148
«Голос начищенной меди...»	149
Следы	150
Города	151
«Я жизнь люблю безбожно...»	152
Реки идут к океану	153
Крик родившихся завтра	155
Телеграммы	156
Песня Индии	158
Солнце	159
Снег	160
Слышишь?!	161
Однажды	163
Стихи о моем имени	164
Вступающим в жизнь	166
«Наверное, будут гложуть историки...»	168
«Мы судьбою не заласканы...»	168
Друг	169
Костер	171
Счастье	171
О личном	173
Быть человеком!	175
Песня	178
«На самом дальнем западе»	181
Нью-Йорк сверху	181
Танцуют индейцы	182
Детская игра	185
Памяти Хемингуэя	187
День благодарения	188
Город ангелов	190
В клубе миллионеров	192
Воскресный выпуск	194
Сон	195
Оттуда	197
Кафе «Фламенго»	199
Бензиновая колонка	201
«Радиус действия»	203
Радиус действия	203
Дом	204
Третье музыкальное	206
Прорубают Арбат	208
История	209
«Кем они были в жизни...»	211
Стихи о биотоках	213
«Не ночь...»	215
Кино в Улан-Баторе	217

Кочевники	218
Ремонт часов	219
Сауна	221
Винтики	222
Планета друзей	224
Мечта	225
Памятник солдату Алеше в Пловдиве	227
Зима тридцать восьмого	229
Мы – политики	230
Зал ожидания	232
Переезжает роща	233
Назым	234
Дипломатам нашим	236
Оптимисты	238
Ночью	240
Третий лишний	241
«Интересуешься искусством...»	243
Парни с поднятыми воротниками	245
«Вслушайтесь...»	247
«Научили...»	248
Родине	250
Конец ознакомительного фрагмента.	252

Роберт Иванович Рождественский

Большое собрание стихотворений, песен и ПОЭМ в одном томе

© Рождественский Р. И., наследники, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Стихотворения

«Флаги весны»

1955

«Приходить к тебе...»

А. К.

Приходить к тебе,
 чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить,
 стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не согласишься,
то, конечно, захочешь, скажешь:
«Это ж глупо очень...»
Скажешь:
«Тоже мне —
 влюбленный!» —
и согласишься удивленно,
и не согласишься на месте.
Будет смех звенеть рекою...

Ну и ладно.
 Ну и смейся.
Я люблю тебя
 такую.

Море

В. Гнеушеву

Вздыблено.
 Возмущено.
В отблесках маяков
кажется:
 хочет оно
выпрыгнуть

из берегов.
Как будто ему нипочем
реветь
и реветь
с утра.
Гору
толкнуло плечом,
кажется —
рухнет гора!
И вот уже
на ветру,
ахнув,
взрываются волны...
А я
ему
ору:
«Море!!
Давай на полный».
Слышишь?!
Таким
ты нравишься мне, —
разлившееся до края земли, —
за то,
что несешь
на своей спине
тысячетонные корабли.
За то, что тучи
дождями
поишь,
за ветер,
за то, что покою
не радо,
за то,
что если ты с кем-нибудь
споришь,
это
звучит как надо!
Дай руку на дружбу,
я буду тобой гордиться,
пусть
плавают в лужах
любители
тихой водицы!..
А ты
гуди!
Теперь мы вдвоем.
Не уставай,
море мое.
Бурли! —

Ты слышишь? —
Громче давай!!
Сердце мое,
не остывай.

В пути

Берега зеленые-зеленые
за кормою медленно растаяли,
волны
цвета неопределенного
возле парохода ходят стаями.
Вряд ли полдень может быть удачнее.
Тишина.
Вода, как будто олово...
Девушка сидит на чемоданчике,
на руки склонив устало голову.
Ласковая,
худенькая,
стройная, —
как же пассажирам не дивиться ей?
Едет медицинскую сестрой она
в бывшую заштатную провинцию.
По дороге вязкой,
будто вспаханной,
медсестра приедет поздним вечером
в городок,
еще смолою пахнувший
и пока
на картах не отмеченный.
К борту парохода с плеском ластятся
волны
цвета неопределенного.
Едет девушка в цветастом платице,
в город свой заранее влюбленная...

«Девчонки опаздывают на свиданья...»

Девчонки опаздывают на свиданья.
Так принято.
С этим надо считаться.
Летят они к месту,
где в ожиданье
ребятам осточертело скитаться.
Ребята в отчаянье кепки мнут

целых сорок минут.
Но они обидятся,
 если вдруг им
начнешь —
 про любовь и «порывы страсти».
Они
 запыхавшимся подругам
говорят как можно небрежнее:
 «Здрассте!»
И все.
И мальчишке становится жарко.
Окинув веселую улицу взглядом,
он чинно шагает
 с девчонкой рядом,
боясь даже взять ее за руку.
Вместе им
 и хорошо
 и неловко,
но вот,
 в себе заглушая ропот,
он предлагает попить газировки
и добавляет:
 «С сиропом!!»

...Не смейся!
Давно ли мы сами были
такими?
Помнишь наши свиданья?
Помнишь, —
 злясь на себя,
 грубили
девчонкам,
 наихитрейшим созданиям?
Помнишь?..
Смеяться над этим не надо.
Как ее звали?
Наташей,
 Натой.
Где же ты, Натка?
 Певунья Натка?
Смешные стихи в голубых тетрадках.
Возле реки пионерский лагерь.
К солнцу летящие флаги...
Улыбки прохожих не замечая,
мальчишка шагает рядом с девчонкой...

Ты не мешай им.
 Ты не смущай их.
Давай отойдем в сторонку.

Последняя песня

Смертью, которой грозят нам враги, обретем мы бессмертье...
Муса Джаили

До рассвета семьдесят восемь минут.
На рассвете
 ключ заскрипит в замке,
на рассвете в камеру люди войдут
и пролают приказ на чужом языке.
А потом будет десять визжащих дверей,
коридорный сквозняк,
 молчаливый конвой.
Будет яма на тесном тюремном дворе
и тяжелое небо
 над головой.
Автоматчики тупо шеренгу сомкнут.

До рассвета семьдесят восемь минут.
И сейчас,
 на распухшие пальцы дыша,
задыхаясь,
 спеша,
 обгоняя рассвет,
пишет песню,
 последнюю песню,
 поэт
чуть заметным обломком карандаша.
Пусть от долгих допросов гудит голова,
пусть больная рука тяжелее свинца...
Но приходят
 единственные слова,
как приказ,
 как присяга,
 как клятва бойца.
Пишет,
 пишет поэт...
И кончается ночь.
За стеною глухая команда слышна...
Даже фронт наступающий,
 даже страна
не успеют,
 не смогут,
 не в силах помочь!

Я хочу,

чтоб ко мне его твердость пришла,
чтоб не смел ни минуты растрачивать я,
чтобы каждая песня
 такою была,
будто это
 последняя песня моя,
будто брезжит уже за окошком рассвет,
а враги ненавидят меня и клянут,
будто жить мне осталось
 не семьдесят лет,
а семьдесят восемь
 минут.

Сатира о сатире

Бодро в руке фелъетон зажав,
летаешь в редакции
по этажам.
«Отдел сатиры».
Встречает
 мамаша.
Узнав,
 зачем ты,
руками машет:
«Давно бы,
 кажется,
 знать должны —
куды ж вы лезете,
 милые? —
Нам Гоголи и Щедрины
нужны!
А ваша-то
 как фамилия?...»
Тихи
 и скромны,
сгорев от стыда,
уходим.
Сюда
 не мы
 нужны...
И снова
 смотришь во все глаза,
по коридору бредешь понуро.
Но вот табличка.
 Написано:
 «Зав.
Отделом литературы».

В двери толк!
И сразу —
 стоп.
Дубовый стол,
за столом —
 столп.
Едва-едва удостоив взглядом,
рычит:
 «Чего вам,
 собственно,
 надо?!»
И ты объясняешь с предельным тактом:
вот, мол...
 Стихи, мол...
 так-то и так-то...
Зав,
 отрывая от кресла зад
и багровея:
 «Сатира?!
 Снова?!»
Мы
 работаем,
 так сказать,
а вам все хаханьки, да?
 смешно вам?!
Чему
 смеетесь?!
 (Да помолчите вы!
Надо же быть
 таким бестолковым!)
Тоже мне,
 ходят тут...
 «Обличители!»
Воображают себя
 Михалковыми...»
Стучусь наугад в какие-то двери.
«Войдите!» —
 слышу, ушам не веря.
Издав вместо «Здравствуйте»
 тихий стон,
вхожу
 и кладу фельетон на стол.
Потом, как в бреду,
сажусь
 и жду.
А дядя смакует
дыма клубы,
а дядя курит,
кусая губы...

И вот,
наконец, поднимает глаза,
видимо,
взвесив все «против» и «за», —
голосом бархатно-нежным:
«Сатира...
нужна,
конечно...
Но вы бы писали
басни,
и вам...
и нам безопасней...»
Картинка загадочней всякого ребуса.
Вывод:
иди и жалуйся.
Так вы говорите:
сатира требуется?
– Пожалуйста.

К вопросу о перестраховке

Один мой знакомый
придумал одну
песню
с названием: «Про луну».
В песне —
луна над рекою
горит
и камешки
в оной реке
серебрят.
Песня как песня.
Трехдневный труд.
Сдерживая волнение,
поэт в газету пошел,
но вдруг
взяли поэта
сомнения,
задели больную его струну:
как это он принесет
«про луну»?
Как же он скажет: «Нате»?
А вдруг редактор —
лунатик?
Примут за выпад.
Скажут: намек...
Поэт

рисковать собою не мог.
И вот, подумав
 минуту
 одну,
своими
 опытными руками
он переделывает
 «Про луну»
на более выдержанное
 «Про камни»,
считая,
 что не на что больше пенять
и что напечатание
 обеспечено...
А я бы советовал
 камни
 снять.
Вдруг у редактора
 камни
 в печени?

Как это начинается

Очертанья машины неотразимы.
Остальное —
 не очень обычно для глаза:
подъезжает к школе
 в роскошном ЗИМе
ученица второго класса.
И хотя это дико,
 хоть в это не верится,
но она,
 на землю ступив едва,
говорит шоферу,
 хлопая дверцей:
«Машину
 подашь
 в два».
И шофер,
 здоровенный дядя,
уезжает,
 сумрачно глядя...
Тане
 только девять,
Таня утром встанет,
Тане
 можно делать

все,
 что хочет Таня.
Озорные ямочки
на щечках «ангелочка».
Танечка
 у мамочки
единственная дочка.
Потому так рьяно
и с таким старанием
мама постоянно
жизни учит
 Таню.
Как только «крошка»
 шагнет до дверей,
читает нотацию мать:
«Твой папа начальник —
 и в нашем дворе
не с кем
 тебе играть».
Танечка маме верит
и не подходит к двери.
Семейство частенько в панике:
«Тане конфеток хочется!
Танечка хочет баиньки...»
Я знаю,
 чем это кончится.
С каждым днем она будет
 в капризах упрямей,
будет наглой и злой,
 и, в конце концов,
очень стареньким,
 милым папе и маме
откровенно
 плюнет в лицо.
А они будут ахать:
 откуда такое?
Вспоминать,
 какой она нежной была,
говорить,
 что ребенка испортили в школе,
что общественность
 вовремя
 не помогла,
говорить о Танюше
 без прежнего шика,
причитать над случившимся
 долго и слезно...
Дорогие родители,
 а ведь не поздно

исправить
ошибку!
Если вам
ребенок единственный
мил,
если вам
судьба дорога его,
распахните для девочки
окна в мир,
о котором не знает она
ничего.
Ведь потом она
детства уже не вернет, —
не умеющей жить
не помогут слова, —
вас
и вашу слепую любовь
проклянет!
И по-моему,
будет права.

«Испытание»

1956

Утро

Владимиру Соколову

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром...

Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,

когда появится солнце...

В доме стали заметней окна.

Спит,

раскинув улицы,
город,

все в нем —

от проводов антенных
до замков,

до афиш на стенах, —
все полно ожиданием:

скоро,

скоро!

скоро!! —

вы слышите? —

скоро

птицы грянут звонким обвалом,

растворятся,

сгинут туманы...

Темнота заползает

в подвалы,

в подворотни,

в пустые карманы,

наклоняется над часами,

смотрит выцветшими глазами

(ей уже не поможет это), —

и она говорит голосами

тех,

кто не переносит

света.

Говорит спокойно вначале,
а потом клопоча от гнева:
– Люди!
Что ж это?!
Ведь при мне вы
тоже кое-что
 различали.
Шли,
 с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно,
 да осторожно...
Я темней становилась нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя
 не корили...
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда
говорили?
Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце
 луну принимали.
Разве я
 виновата в этом?

Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся вполнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь
 для своих льстецов,
а с такими советами к нам
 не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает
 свою болезнь.
...Мы хотим оглядеться
 и вспомнить теперь
тех,
 кто песен своих не допел до утра...
Говоришь,
 что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!
Ты слышишь?

Пора
знать,
 в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!

...Зазвенели будильники на столах.
А за ними
 нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах
 с клекотом гулким проснулась вода.

С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю,
Начинается день.
Начинается
 день!
Я люблю это время.
Я
жизнь люблю!

Выбор

Вот здесь бы остаться! —
Леса за окошком бескрайны.
Подальше б от станций
рвануть к себе ручку стоп-крана,
сказать себе:
брось, ты
особенной доли не требуй!

Останься,
 чтоб просто
смотреть на июньское небо,
из речки напиться,
потрогать чудные растенья,
подсвистывать птицам,
шмелиное слушать гуденье...
Чего ты все ищешь?
Довольно по свету шататься!
Останься,

дружище!
Ведь это же легче —
остаться.

Останься!
И сразу
не будет стучать в перепонках,
не будет ни грязи,
ни тряски,
ни плача ребенка
в соседнем купе,
ни тоски,
ни слепящего пота...

Неужто тебе
убежать от всего неохота?!
Да разве забыл ты,
как жгли тебя южные полдни,
как чьи-то заботы
бывали твоими?
Ты вспомни,
как ездил,
как жил,
как за горло хватала усталость...

Ну ладно...

Решил.

Я останусь.
Пусть так...
Я останусь...
Ведь мне будет легче...
Ведь я заслужил это право...
Пусть лягут на плечи
тяжелые росные травы,
пусть так, как всегда,
будут мимо

идти эшелоны...

Но будут гудеть поезда
и мелькать за окном запыленным
немые разъезды,
таежные, хмурые чащи...

Но кто-то
займет мое место
в вагоне стучащем
и будет мечтать
о путях,

неизведанных самых,
и будут встречать
не меня
на далеких вокзалах!

Я струшу.
Сбегу.
Будет песня моя не допета...

Нет, я не могу.
Не хочу.
Не согласен на это!
Нет, я не останусь!
Пусть душно и пыльно в вагоне, —
нет, я не устану
за ветром бросаться в погоню!
Пусть жребий мне выпал
без сна
 обходиться помногу,
но если есть выбор,
то я выбираю —
дорогу!

В поезде

Поезд
 по мостам пылил,
резал ночь с разгона...
Парень ехал в тамбуре
жесткого вагона.
На окно высокое
опершись затылком,
парень пил
 «Особую»
прямо из бутылки.
Он не брал закуски,
выл с тоскою пьяной:
— Еду я к Маруське,
девке
 окаянной!
Путь-дорога длинная,
двадцать два
 дня...
Улица
 Неглинная,
примешь ли
 меня?
Улица хорошая, —
больше ничего, —
громким было прошлое
сына
 твоего.

Повернула зимушка
все
 наоборот...
Колыма-Колымушка —
северный курорт!
Так что
 не утешит
глупый разговор.
Я ведь —
 отсидевший!
Я ведь —
 во-о-р!
Похрустят сотенки
с месяц
 или два...
Только...
может, все-таки...
нужен я?
А?
Или...
как ни трогай...
как ни гляди...
мне опять дорога?..

Парень!
 Погоди!
Раз уж крыть нечем,
может, помогу, —
я тебе отвечу,
парень,
 как смогу.
У тебя из многих,
как ты ни крути,
будут две дороги,
будут два пути.
Первый:
 братцы-урки,
была не была! —
В темных переулках
темные
 дела.
Может, он и легче...
Только, все сгубя,
этот путь
 далече
заведет тебя.
Этот путь протянется
долгие
 года.

Насовсем ты,
 парень,
пропадешь тогда.
Слышишь? —
 будет хуже,
сгинешь ни за грош!..

А насчет
 «Не нужен» —
это
 ты
 врешь!
Ноешь про такое,
душу теребя.
Врешь,
 чтоб успокоить
самого себя.
...Говоря по совести,
все вокруг
ждет твоих мозолистых,
сильных
 рук.

Грубо,
 не жалеючи,
кончу разговор:
будет потруднее,
 чем
было до сих пор!
Голову ломаешь,
о судьбе скорбя?
Люди, —
понимаешь? —
Люди
 ждут
 тебя!

А в конце у повести
тихие слова.
Дело было в поезде
Ленинград – Москва.
Было тихо,
только
слышалось одно:
дребезжало тонко
в тамбуре
 окно.
Торопливо по лесу
грохотал состав...

Парень спал,
мозолистые
руки
разметав.

Речка иня

Над ущельями,
 над сутолокой круч,
над дорогой,
 убегающей вниз,
уцепившийся за солнечный луч,
жаворонок легкий повис.
Я его не слышу.
Для меня
жаворонок этот —
 не в счет.

Я пришел туда,
 где течет
маленькая речка Иня.
Что, казалось бы, такого
 в ней?
Ручеек течет меж камней.
Переплюнуть можно,
вброд перейти,
перепрыгнуть без усилий почти.
Речка, речка!

 Понимаешь ли ты,
почему
 по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней к тебе?

...В белой пене,
 в тучах брызг
 сгоряча
вниз,
 в долину,
 ты летишь с вышины,
вдохновенно и сердито урча
и локтями раздвигая валуны.
Холод тонких
 мартовских льдин
ты несешь в темно-зеленом нутре...
У меня приятель есть один, —
он скривился б,
 на тебя посмотрев.

Он сказал бы,
 брови выгнув в дугу,
оглядев твой бешеный бег:
– Этих глупых
 маленьких рек
я никак понять не могу.
Для чего они?
 Кому нужны?
И вообще зачем в них
 вода?
Если в речке
 нет глубины,
разве ж это речка тогда?
Разве ж она сможет,
 звения,
славу о себе
 пронести?..

Ты прости его,
 речушка Иня!
Несмышленный он еще.
Ты прости.

Ожидание

Так
 любимых не ждут у порога.
Так
 к больному не ждут врача...
Пыль
 на рыжих
 степных дорогах —
хоть картошку пеки – горяча.
Люди мнут фуражки в руках,
от полей глаза отводя...
Я впервые увидел,
как
ждут дождя.
Ждут,
 выдумывая всевозможные сроки,
ждут,
 надеясь на чудо,
ждут,
 матерясь:
– Пусть дороги развозит!
Плевать на дороги!
Лишь бы дождь.

Пусть тогда, хоть по горло,
грязь. —
А земля горит.
От жары —
как в броне.
А земля говорит:
— Помогите мне!
Без воды,
без дождя
больше я не могу...
Помогите!
Ведь я
не останусь в долгу! —
Как ей скажешь:
— Выдержи!
Подожди! —
Чем поможешь?
Минуты, как вечность, идут...
Люди ждут и молчат.
Люди курят и ждут...
Ты мне пишешь:
в Москве у вас
снова дожди.
Снова дождь.
По бульвару опять не пройдешь.
Снова дождь.
По обочинам мчат ручейки.
Дождь идет по Москве —
теплый,
ласковый дождь...
Там скрываются от него, —
чудаки! —
надевают плащи,
открывают зонты,
начинают погоду ругать с утра,
ходят хмурые...
Если б увидела ты,
как, негаданно
вымахнув из-за бугра,
мчит,
дороги не разбирающий,
через поле
к нам
напрямик,
так пылящий,
будто пылающий,
сельсоветовский грузовик.
Председатель выпрыгивает на ходу

он кричит,
а глаза блестят, как от голода:
– Будет
 дождь!
Мне сейчас...
 звонили из города... —
Пошатнулся.
И дальше, словно в бреду: —
Туча...
 мне звонили...
 свернула сюда...
к нам идет...
Если мимо, то...
 быть...
 беде...
Ты мне пишешь,
 что вам надоела вода.
Напиши,
напиши мне об этой воде!
О дождях напиши мне!
О том,
 как тяжел
воздух перед грозой...
На погоду не жалуйся!
Напиши,
 чтоб он был, этот дождь,
чтоб он шел!
Пожелай нам ливня,
пожалуйста.

«Любовь...»

Любовь.
 Мы об этом читали в книжках.
Любовь.
 Мы такое понять не могли.
Но постепенно мужали мальчишки
и вот до нее доросли.

А помнишь —
 мы с ней не хотели знаться,
и часто, пути для себя выбирая,
ее мы считали,
 лет до тринадцати,
чувством,
 которое все презирают.
Строгая кинжалы ножом перочинным,

ровесниц вгоняя сраженьями в трепет,
решали мы, что настоящий мужчина —
тот,

который девчонок не терпит,
а если случалось,

то знал любой,
смеясь,

читали на стенах прохожие:

Вова + Лида = любовь.

А тут – не такая!

А тут – не похожая.

А тут —

то близкая, то далекая,
пришла и выволокла на улицу.

Первая

(мне говорили: легкая),

верная

(мне говорили: забудется!).

Мне говорили:

ни в коей мере
любовь пошатнуть тебя
не должна!

Мне говорили,

а я не верил...

Мне говорили так,

а она

опять будоражила и удивляла,

то криком крича,

то дразня,

то играя.

Смеяться и плакать она заставляла,

и не было ей ни конца, ни края!

Она была в жестах,

в улыбках и взглядах,

она была в ссорах,

в словах откровенных,

она была в каждом движении

и в клятвах,

наивных,

смешных,

но действительно верных...

Отрывок из поэмы «Совесьть»

...В девятьсот семнадцатом родился,

Не участвовал и не судился,
В оккупации не находился,
Не работал, не был, не умею,
Никаких знакомых не имею.
Родственников за границей нету,
Сорок три вопроса и ответа,
Сорок три вопроса и ответа —
Просто идеальная анкета.

.....
Одного вопроса нет в анкете.
Нет того, что в сердце нам стучится,
Ханжескому пафосу противясь,
А когда ты думать разучился,
Несгибаемый, как пень, партиец?
Твердым шагом проходил в президиум,
Каялся, когда кричали: «Кайся!»
И не падал, и не спотыкался,
Потому что, кто ж споткнется сидя...

Да, мальчики!

Мы – виноваты.
Виноваты очень:
Не мы
 с десантом
 падали во мглу.
И в ту —
 войной затоптанную —
 осень
мы были не на фронте,
 а в тылу.
На стук ночной
 не вздрагивали боязно.
Не видели
 ни плена,
 ни тюрьмы!
Мы виноваты,
что родились поздно.
Прощенья просим:
виноваты мы.
Но вот уже
 и наши судьбы
 начаты.
Шаг первый сделан —
 сказаны слова.
Мы начаты —
 то накрепко,

то начерно.
Как песни,
 как апрельская трава.
Мы входим в жизнь.
Мы презираем бляенье.
И вдруг я слышу разговор о том,
что вот, мол, подрастает поколение.
Некстати... непонятное...
 Не то...
И некто —
 суетливо и запальчиво, —
непостижимой злобой
увлечен,
уже кричит,
 в лицо нам
 тыча пальцем:
«Нет, мальчики!»
Позвольте,
 он – о чем?
О чем?
Нам снисхождения не надо!
О чем?
И я оглядываю их:
строителей,
поэтов,
космонавтов —
великолепных мальчиков моих.
Не нам брюзжать,
не нам копить обиды:
и все ж таки
 во имя
 всей земли:
«Да, мальчики!» —
которые с орбиты
 космической
в герои
 снизошли!
Да, мальчики,
веселые искатели,
отбившиеся
от холодных рук!
Я говорю об этом
 не напрасно
и повторять готов
 на все лады:
Да, мальчики в сухих морозах Братска!
Да, мальчики, в совхозах Кулунды!
Да,
 дерзновенно

умные
очкарики —
грядущее
неслыханных наук!
Да, мальчики,
в учениях тяжелых,
окованные
строгостью
брони.
Пижоны?
Ладно.
Дело
не в пижонах.
И наше поколение —
не они.
Пусть голоса
о непослушных детях
в клубящемся
искусственном дыму
лихие спекулянты
на идеях,
не научившиеся
ничему.
А нам смешны
пророки
неуклюжие.
Ведь им ответить сможем мы сполна.
В любом из нас клоочет революция
Единственная.
Верная.
Одна.
Да, мальчики!
Со мною рядом встаньте
над немощью
придуманной
возни.
Да, мальчики!
Работайте, мечтайте.
И ошибайтесь, —
Дьявол вас возьми!
Да, мальчики,
выходим в путь негладкий!
Боритесь
с ложью!
Стойте на своем!
Ведь вы не ошибетесь
в самом главном.
В том флаге, под которым мы живем!

«Слова бывают грустными...»

Слова бывают грустными,
слова бывают горькими.
Летят они по проводам
низинами,
пригорками.
В конвертах запечатанных
над шпалами стучат они,
над шпалами,
над кочками:
«Все кончено.
Все
кончено...»

О разлуке

Ты ждешь его теперь,
когда
вернуть его назад
нельзя...

Ты ждешь.
Приходят поезда,
на грязных спинах
 принося
следы дорожных передряг,
следы стремительных дождей...
И ты,
наверно, час подряд
толкаешься среди людей.
Зачем его здесь ищешь ты —
в густом водовороте слов,
кошелоков,
 ящичиков,
 узлов,
среди вокзальной суеты,
среди приехавших сюда
счастливых,
 плачущих навзрыд?..

Ты ждешь.
Приходят поезда.
Гудя,
приходят поезда...

О нем
никто не говорит.
И вот уже не он,
 а ты,
как будто глянув с высоты,
все перебрав в своей душе,
все принимая,
 все терпя,
ждешь,
 чтобы он простил тебя...
А может,
нет его уже...
Ты слишком поздно поняла,
как
он тебе необходим.
Ты поздно поняла,
 что с ним
ты во сто крат сильнее была...
Такая тяжесть на плечах,
что сердце
 сплющено в груди...
Вокзал кричит,
 дома кричат:
«Найди его!
Найди!
Найди!»

Нет тяжелее ничего,
но ты стерпи,
но ты снеси.
Найди его!
Найди его.
Прощенья у него
 проси.

Письмо домой

Мама, что ты знаешь о ней?
 Ничего.
Только имя ее.
Только и всего.
Что ты знаешь,
 заранее обвиня
ее в самых ужасных грехах земли?
Только сплетни,
которые в дом приползли,
на два месяца опередив меня.

Приползли.

Угол выбрали потемней.

Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:
чем, мол, встретит сыночка

родная мать?

Как, мол, этот сыночек ответит ей?

Тихо шепчут они:

– Дыму нет без огня. —

Причитают:

– С такою семья – не семья. —

Подхихикивают...

Но послушай меня,
беспокойная мама моя.

Разве можешь ты мне сказать:

не пиши?

Разве можешь ты мне сказать:

не дыши?

Разве можешь ты мне сказать:

не живи?

Так зачем говоришь:

«Людей не смей»,

говоришь:

«Придет еще время любви»?

Мама, милая!

Это все не пустяк!

И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:

принято так

говорить своим сыновьям, —

говорить:

«Ты думай пока не о том», —

говорить:

«Подожди еще несколько лет,

настоящее самое будет потом...»

Что же, может, и так...

Ну, а если – нет?

Ну, а если,

решив переждать года,

сердцу я солгу и, себе на беду,

мимо самого светлого счастья пройду, —

что тогда?..

Я любовь такую искал,

чтоб —

всего сильнее!

Я тебе никогда не лгал!

Ты ведь верила мне.

Я скрывать и теперь ничего не хочу.

Мама, слезы утри,
 печали развей —
я за это жизнью своей заплачу.
Но поверь, —
 я очень прошу! —
 поверь
в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
стала воздухом мне,
 позвала к перу,
в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
как отцы новорожденных только берут.

Странный февраль

Что это с февралем?
Что он,
 сошел с ума?

С крыши – капель ручьем,
а говорят:
 зима...
Звоном разбужена рань, —
как о таком судить?
Что ж это ты, февраль,
шутки вздумал шутить?
Пожалуйста, это брось, —
прими посолидней вид, —
лужи-то хоть
 заморозь,
а то ж это просто стыд —
выше нуля в тени,
в парке сплошная грязь...
Слышишь, февраль,
 крутани
снегом в последний раз!
Ну-ка, тряхни стариной!
Разбудоражь нам кровь,
снежною белизной
озимь в полях укрой...
Выглядишь киселем.
Стань
 настоящим малым!
Будь собою,
 будь февралем,
не притворяйся маем!

Без тебя

Алене

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит...

В окно —
 не то дождем,
 не то крупой
с утра заладило.
И вот стучит, стучит...
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы.
Запомнить все подряд...

За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно, – о тебе!...

Наверное, я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —
не могу!

Лицо пытаюсь вспомнить —
не могу!

...Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там.
И все.

И я проснусь.
И легче станет мне...

Наверно, завтра
почта принесет
письмо твое.

А что мне делать с ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня!
А что за эти дни
случилось —
разве в письмах я прочту?!

Как эхо от грозы, придут они...

Давай увидимся с тобой —
я очень жду —
хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь выбегу
без шапки,
без пальто...
Увидимся давай с тобой,
а то...
А то тебя сильнее я люблю.

По поводу

*14 мая в клубе нашего института состоится лекция на тему:
О любви и дружбе
Лектор: действительный член о-ва по распространению
политических и научных знаний кандидат педагогических наук Л.И.
Миролюбова.*

До того суха,
до того длинна,
до того надсадно
начала говорить,
будто трость вчера проглотила она
и никак не может переварить...

С научных высот своего величия
делая экскурс в прошлое,
она приводила цитаты различные,
цитаты очень хорошие.
Она рассыпалась
комками слов,
Вздымала левую бровь,
сурово доказывая,
что любовь —
просто влечение полов,
что этого
надо бояться,
как оспы,
что до сих пор
заблуждаются многие,
что мы,
с точки зрения биологии,
просто
различные особи.
Шуршали страницы...
С тупым стараньем
она

часа полтора зудела,
наверно, считая,
 что делает
 крайне
необходимое в жизни
 дело...

Стучала весна в переплеты оконные
ветвями деревьев,
порывами ветра...
А в зале сидели
 люди влюбленные
и грустно смотрели на лектора.
Им так надоело
 тупыми казаться,
так скулы сворачивало в зевоте,
что я невольно стал опасаться
за жизнь
 уважаемой тети.
Ребятам,
 обычно таким веселым,
от скуки
 хотелось под поезд лечь...
Гражданка,
 особь женского пола!
Прервите,
пожалуйста,
речь!
Если люди
 на этой лекции спят,
что же будет
 (представить себе не берусь я!),
если вас попросят сделать доклад
о другом,
ну, допустим,
 о кукурузе?!
...Неужели вам
никогда,
 никто
не кричал:
 «Люблю!»,
 не дарил цветов?
Неужели никто вас не ревновал,
не писал вам,
 в губы не целовал?!
Неужто не рады вы
 этой весне?!
Товарищ!
 Да что вы!

Смеетесь над нами?

Неужто вы так и родились:
в пенсне
и с золотыми зубами?

О временно прописанных

Взбалмошные воробьи чирикали.
Сгребали дворники снежные комья...
Клава сказала:
– У нас вечеринка,
будут мои знакомые... —
И вот

 нажимаю звонок легко,
за дверью —
 стук каблуков.

Вешалка заляпана
велюровыми шляпами.
Две,

 четыре,
 восемь,
 десять,
красные,
 синие.

Будто продают их здесь,
будто в магазине я.
Раздеваться велено.
Смотрю неуверенно,
а она, с усмешкою
шарф теребя:
– Ну?

 Чего ты мешкаешь?

Ждут
 тебя... —

Шагнул
 и стал —

ковры,
 хрусталь.

На стенке реденько
три портретика.

Смотрю —
 не верю своим глазам:

Дружников,
 Кадочников
 и Тарзан...

– Скорей проходи...

Пожалста,
знакомьтесь... —
Но вначале
я вижу только галстук
меж двумя плечами.
Кокетливый и длинный
кусок хвоста тигриного,
который к рубашке
приколкой прижат,
и все обрамляет зеленый пиджак.
Крик моды:
могучие ватные плечи,
фасона:
«А ну, брат, полегче!»
и ярко-малиновые штаны
сомнительной ширины.
А владелец галстука
стоит уже
и плечами пожимает:
— Что ж... —
Гнусовато,
со смягченным «ж», —
Жерж.
Вот стул.
Просю садиться... —
И, волосы поправивши, тонким мизинцем
трогает клавиши.
Он сообщил мне сразу сам,
что папа где-то в главке зам
и все такое,
и засим
имеется у папы «ЗИМ».
— А я учился в ГИТИСе,
потом — в металлургическом.
Но и металлургия
не моя
стихия.
Печальный факт.
Теперь куда б почище? —
Подался на филфак,
но тут
скучища.
Опять тетради...

Он морщил лобик маленький.
Двадцатилетний дядя,
сыночек маменькин.
Эдак
и жил он

за мамой да за тетями:
– Жорочка,
 скажи нам!
Жорочка, что тебе? —
Сбивались с ног —
попил ли?
 Поел?
И рос
 сынок
царьком в семье.
Сыпались «карманные»
прямо с неба
 манною.
Раскраснелась вывеска,
стала привлекательной.
В магазинах выискал
галстук сногсшибательный.
Заказал себе пальто,
плащ по моде,
 а потом
не вспоминал о лекциях неделю,
тягучим бриолином мазал гриву
и за обедом напевал игриво:
«Никто меня не холит,
 не коктейлит...»
И, став вполне законченным пижоном,
шагал, по улицам ступая чинно.
А мама часто говорила:
 – Жора,
зачем ты ходишь,
 если есть машина? —
По горло вечно занятый папаша
горой за сына своего стоял...

Сейчас передо мною
 «чадо ваше»
окурок
 молча тушит о рояль,
сдувает пепел
 и, брезгливо морщась,
на ногти тупо смотрит и ворчит:
– А вообще-то,
 ослабела мощность.
Не та эпоха!
Не те
 харчи... —
И, махая рукой устало,
томно цедит:
 – А что осталось?

Кинуть грамм полтора ста горькой,
а потом с подружками дошлыми
прошвырнуться по улице Горького,
мостовую

 память

 подошвами!

Модным шарфом укутав горло,
дефилировать,

 встречным кивая...

И, как будто ему подвывая,
загнусавила вдруг радиола.

Чей-то голос

 устало цыганский

пел о ветре в степи молдаванской,
пел об ангелах

 разных расцветок,

о бананах,

 свисающих с веток,

пел о дальнем, заброшенном мире...

Потянуло гнилью в квартире.

Слово за слово,

песня за песней.

Будто это с пластинок плесень

наплывает, вползает в уши...

– Получается вроде скушно... —

Жоржик встал

 и к дивану вразвалочку:

– Сбацаем фоксик,

 Аллочка!

Холеная рука.

Косые взгляды.

В зубах

 «Дукат»,

запачканный помадой.

С поволокой,

 сонные

глазки нарисованные.

Так

 получилось, —

Алла

 сначала

где-то училась,

что-то кончала,

и даже как будто

она еще помнит, что дома

хранится под спудом

ненужная книжка диплома.

С завидным успехом

«на блеск утомительный бала»
страницы конспектов
и совесть она променяла.
Она променяла
товарищей,
 дружбу,
 работу
на модные туфли,
на сплетни,
 на суперфокстроты.
И, книг не читая,
зато превосходно умела
она разбираться
в изделиях «Главпарфюмера»,
в шикарных прическах,
в наборе цветов маникюра...
Она заучила,
что дети испортят фигуру
и что, мол, романтика
скоро кончается
 самым
типичным желанием —
только бы
 выскочить
 замуж,
да так, чтобы
 (боже!)
завидовать стали подруги,
да так,
 чтоб побольше
зарплата была у супруга!
Да так, чтоб – машина!
Да так, чтобы в центре квартира!

...А жизнь проходила,
а жизнь стороной проходила,
а жизни не скажешь:
«Помедленней!
Не успеваю...»
Послушай,

 так как же?
Откуда ж взялась ты —
 такая?

.....
Дверь —
и сразу как будто гору
с плеч.
Асфальт со сколотым льдом.
Передо мною

весенний город,
а за спиной —
дом.
Многоэтажный красавец взнесен
к звездам самим как будто...
Постой!
А может, ты видел сон?
Может,
ты перепутал?
Может,
такого не было?
Но
прямо над головой
на улицу
вывалило окно
фокса
кошачий вой.
Подожвами шаркая в тесноте
с ухмылочкою уверенной,
еще в квартире танцуют
те,
кто в жизни
прописан временно!
Еще в квартире
опять и опять
«Жоржики»
что-то вопят.
Снова столбом дым папирос
и ходуном
пол.
Снова...

Имею один вопрос:
а до каких
пор?

**«Дрейфующий проспект»
1959**

«Я уехал...»

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулучной
апрельской
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишеских боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны...
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она или нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»
Но...
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.
Я уехал
от весны...
Я уехал
от тебя.

Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горячих слез
самолет меня
унес.
Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу...
Я ведь сильный,
я —
смогу...»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

Облака

Хочешь,
оторву кусок от облака?
Вот от этого...
Смотри, какое пухлое...
Проплывает
с самолетом об руку
белой
свежевыпеченной булкой.
На семи ветрах оно замешано,
приготовлено
в дорогу дальнюю...
Солнечный разлив
и тьма крошечная
потрудились над его созданием...
Посмотри:

растет оно и пыжится,
будто в самом деле —
именитое.
Так сурово и надменно движется,
будто все оно —
насквозь! —
гранитное,
монолитное,
многопудовое,
диктовать условия готовое.
Раздувается с довольной миною
и пугает неоглядно толщиной:
«Захочу —
и я вас уничтожу!
Захочу, —
наоборот, —
помилую...»
Мне еще все это незнакомо.

Мне, —
сказать по правде, —
страшновато.
Ну, а если облачная вата
в горле у мотора
встанет комом?
Ну, а если небо занавесится
и на нас навалится с опаскою?..
Самолет
по очень длинной лестнице
лезет
к богу самому за пазуху....

Бортмеханик говорит спокойно,
глядя на меня из-под бровей:
— Это все, приятель,
пустяковина...
Будем живы!
Ты уж мне
поверь... —
Он читает «Расщепление атома»
и поет про свежесть васильков.

Мы летим на север.
Скоро Амдерма.
Мы летим.
Мы выше
облаков.

Немного экзотики

– Ну, и как там?
(Вопрос, на который очень трудно ответить)

На улице,
 как и вчера, —
 холодина,
снег,
 поземка...
Впрочем,
«улица» —
 это большая льдина,
от других отличающаяся
не очень.
Разве что чуть побольше
(а все ж таки край —
 недалече).
Разве что чуть покрепче
(но это мы скажем позже,
скажем:
«Спасибо,
 льдина!
Выдержала, молодчина»).

Пока
 от похвал воздержаться
особая есть причина.
Дело совсем не в страхе!
Не в том,
 чтобы кто-то сдрейфил
и вместе с началом дрейфа
начались
 «охи» и «ахи».

У нас хорошая льдина —
ее выбирали не зря, —
вполне приличная льдина,
но все ж таки —
 не земля.

Но все ж таки там,
 под нею,
такая вода темнеет,
таким леденящим светом,
что лучше...
не будем об этом.
Не надо!
 Кому охота...
Это я просто к слову.

День начинается новый
не с солнечного восхода.
Всему удивляться
какой резон?

Но странно
считать в порядке вещей,
что солнце
из принципа
вообще
не уходит за горизонт.
Мерцает
маленькое пятно
сквозь выцветшую пелену...
Но если ты очень устал,
то оно
вполне заменяет луну.

По радио
диктор неунывающий
нас будит
в восемь часов утра —
в Москве:
«Спокойной ночи, товарищи!» —
значит, вставать пора...
Пора...
И уже минут через пять
мы щурим глаза от света...
«Как нынче погода?
Ветер опять?»
Нет, это не ветер.
Это,
примериваясь
для посадки на лед,
лопастями винтов шевеля,
с достоинством в небе
висит вертолет —
гибрид головастика
и шмеля.

На дрейфующем проспекте ты живешь...

Мне гидролог говорит:
– Смотри!
Глубина
сто девяносто три! —
Ох, и надоела мне одна

не меняющаяся глубина!..
В этом деле я не новичок,
но волнение мое пойми —
надо двигаться вперед,
а мы
крутимся на месте,
как волчок.

Две недели,
с самых холодов
путь такой —
ни сердцу, ни уму...
Кто заведует движеньем льдов?
Все остановил он
почему?
Может, по ошибке,
не со зла?
Может, мысль к нему в башку пришла,
что, мол, при дальнейшем продвижении
расползется все сооружение?
С выводом он явно поспешил —
восхитился нами
и решил
пожалеть,
отправить на покой.
Не желаю
жалости такой!
Не желаю,
обретя уют,
слушать,
как о нас передают:
«Люди вдохновенного труда!»
Понимаешь, мне обидно все ж...
Я гидрологу сказал тогда:
— На Дрейфующем проспекте
ты живешь.
Ты же знал,
что дрейф не будет плавным,
знал,
что дело тут дойдет до драки,
потому что
в человечьи планы
вносит Арктика
свои поправки,
то смиряясь,
то вдруг сатанея
так,
что не подымеешь головы...
Ты же сам учил меня, что с нею

надо разговаривать
на «вы».
Арктика пронизывает шубы
яростным дыханием морозов.
Арктика показывает зубы
ветром исковерканных
торосов.
Может, ей,
 старухе,
и охота
насовсем с людьми переругаться,
сделать так,
 чтоб наши пароходы
никогда не знали
 навигаций,
чтобы самолеты не летали,
чтоб о полюсе мы не мечтали,
сжатые рукою ледяною...
Снова стать
неведомой страной,
сделать так,
 чтоб мы ее боялись.

Слишком велика
людская ярость!
Слишком многих
мы недосчитались!
Слишком многие
 лежать остались,
за победу
 заплатив собою...
В эти разметнувшиеся шири
слишком много мы
 труда вложили,
чтоб отдать все то,
 что взято с бою!
Невозможно изменить законы,
к прошлому вернуться
 хоть на месяц.

Ну, а то, что кружимся на месте,
так ведь это, может,
для разгона...

Подъем флага

Флаг поднимался медленно и верно.

И знал,
что взгляды всех сейчас —
на нем!
Он наши лица
 осветил мгновенно
земным огнем.
Трепещущим огнем.
Он сразу же
 метели стал перечить.
Молчал.
(А нам казалось, что – звенит!)
Он, складки распрямляя,
 будто плечи,
над нашей головой
всходил в зенит...
Стояли мы,
немея от восторга,
смотрели,
 как он бьется на ветру.
И было ясно:
флаг сюда —
надолго!
Ему
 такое место —
по нутру!..
И знали мы:
среди торосов грузных
у флага будет каждый на виду.
Он не потерпит
шкурников и трусов,
поможет,
если попадешь в беду.
Не сдаст,
не упадет
 и не остынет,
бунтующий,
разлившийся в глазах.

...Ну, вот и все.
Конец тебе,
 пустыня!
Конец тебе,
 безмолвье!
Грянул залп.

«Восемьдесят восемь»

Сочетание «88-С» по коду радистов означает «целую».

Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой:
в целом городе у вас —
ни снежинки.
В белых фартучках
школьницы идут
гурьбой,
и цветы продаются на Дзержинке.
Там у вас — деревья в листве...
А у нас, —
за версту,
наверное,
слышно, —
будто кожа новая,
поскрипывает наст,
а в субботу будет кросс
лыжный...

Письма очень долго идут.
Не сердись.
Почту обвинять
 не годится...
Рассказали мне:
жил один влюбленный радист
до войны на острове Диксон.
Рассказали мне:
 был он
не слишком смел
и любви привык
 сторониться.
А когда пришла она,
 никак не умел
с девушкой-радисткой
 объясниться...

Но однажды
в вихре приказов и смет,
график передачи ломая,
выбил он:
«ЦЕЛУЮ!»
И принял в ответ:
«Что передаешь?
Не понимаю...»

Восемьдесят восемь!
Очень люблю.
Восемьдесят восемь!
Навеки.

Хребет имени Ломоносова¹

Мне сегодня показалось,
 словно
тишина,
тугая и густая,
страшным грохотом
 была разломана
и из океана
горы
встали!
Встал хребет почти до небосвода,
огляделся,
 тяжело вздыхая,
и заговорил,
морскую воду
с каменного тела
 отряхая:
сколько помню я себя —
ни разу
на вершинах,
 темных и тенистых,
не бывали
ваши альпинисты,
не ступали
ваши водолазы.
Над моими склонами
 неслышно
ходят рыбы
 легкими стадами.
Водоросли медленно колышат
синими
густыми бородами.
Бродят неуверенно и немо
зыбкие,
кисельные медузы.
Наряду мною
вместо глыбы
 неба
океан лежит

¹ Хребет имени Ломоносова – горный хребет, проходящий по дну Ледовитого океана. – *Прим. авт.*

великим грузом.
Эту тяжесть подперев руками,
я стою,
крутую выгнув спину.
Снизу мне дрейфующие льдины
кажутся
большими облаками.
Не хочу,
чтоб жизнь без цели гасла!
Жду,
наверное, миллионный день я,
чтобы вам
отдать свои богатства;
чтобы вы
пришли в мои владенья...
Я —
ровесник вашего Урала!
Я уже ущельями
разорван...
Приходите!
Подарю вам зерна
драгоценного,
как жизнь,
урана...
Приходите!
Говорю, как старший.
Вас
зову
не за подачкой тощей...
Я раскрою
угольные толщи
(вам
такое
и не снилось даже!).
Вашим домом стану и оплотом,
подарю вам
золотые жилы...
Хватит
спину мне царапать лотом!
Присылайте помудрей
машины!
Я
своею каменной грудью
вас от всех опасностей
прикрою,
напою вас собственной кровью...
Присылайте умные орудья.
Жаль, что нет пока
таких орудий.

Их еще выдумывают
люди.

Горячий север

А слышала ли ты, что он —
горячий?..
Вмиг освистав торосистые пики,
метели покуражатся
и спрячут
все веши,
все привычные тропинки.
По насту —
он невозмутимо гладок,
по снегу —
он тяжел и слишком тих —
гидрологи
выходят из палаток,
и ночь
неслышно принимает их.
Гидрологи выходят напевая.
И никого на помощь не зовут,
горячими руками согревая
лебедочную
злую синеву...
Когда бураны начисто ломают
людской покой
и грузы тяжелы —
ребята раздеваются
до маек,
спасаясь от невиданной жары!..
Чернеет в лунке круглая вода.
Свет фонаря задумчив и рассеян...
Обычная работа.
Как всегда.
Медлительная ночь...
Горячий Север!

Аврал

Мы ящиков не выбираем полегче.
Натружены руки.
Оттянуты плечи.
Не гнутся,
но кажутся ватными

пальцы.

Упасть бы сейчас
и в снегу отоспаться!
На десять минут бы!
На десять...

Но снова,
палаточный город
собой сотрясая,
врывается слово,
взрывается слово:
«АВРАЛ!»

...Очень медленно
двигутся
сани.

Как будто стальные.
Как будто из камня.
Скрипя,
подаваясь почти незаметно, —
то плавно,
а то вдруг толчками,
рывками, —
еще на полметра.
Еще на полметра...
А снег под ногами
предательски порист.

И лезем мы,
на руки яростно дую,
шатаясь,
проваливаясь по пояс,
по ровному полю,
как в гору крутую.
Холодное солнце
идет небесами...

Глаза застилает.
Дышать уже нечем.
Оттянуты руки.
Натружены плечи.
Но движутся сани.
Но движутся сани!

...Мне долго еще будет сниться такое:
нежданной
приходит Большая Работа.
Полундра! —
и мы поднимаемся с коек.
Аврал!—

и рубахи дымятся
от пота.

Мираж

Дежурный закричал:
– Скорей сюда!
Мираж!
 смотрите!
Все сюда!
Скорей!.. —
И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей.

Я ждал всего.
Я был готов к любому:
к цветам и пальмам
 в несколько рядов,
к журчащему прибою голубому,
к воздушным башням
 древних городов.

Ведь я читал,
как над песком
бесстыдно
вставали
 эти памятники лжи.

Ведь я читал,
как жителей пустыни
с дороги уводили
 миражи...

Ведь я читал,
ведь я об этом знаю:
слепящим днем,
как в полной темноте,
шагали
люди,
 солнце проклиная,
брели
к несуществующей воде.

Но здесь...
– Да где мираж?!
– А очень просто.
Туда смотри!..

Я замер,
поражен:

на горизонте
плавали
торосы
вторым,
не очень ясным этажом.
Они переливались
и дрожали...
Я был готов к любому.
Ждал всего...
Но Арктика!
Ты даже
миражами
обманывать
не хочешь никого.

Нелетная погода

Нет погоды над Диксоном.
Есть метель.
Ветер есть.
И снег.
А погоды нет.
Нет погоды над Диксоном третий день.
Третий день подряд
мы встречаем рассвет
не в полете,
который нам по душе,
не у солнца,
слепящего яростно,
а в гостинице.
На втором этаже.
Надоевшей.
Осточертевшей уже.
Там, где койки стоят в два яруса.
Там, где тихий бортиштурман Леша
снисходительно,
полулежа,
на гитаре играет,
глядя в окно,
вальс задумчивый
«Домино».
Там, где бродят летчики по этажу,
там, где я тебе это письмо пишу,
там, где без рассуждений
почти с утра, —
за три дня,
наверно, в десятый раз, —

начинается «северная» игра —
преферанс.
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
 ни о чем не спорится...
Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день
 погоды над Диксоном нет.
Третий день.

А кажется:
двадцать лет!
Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:
 «летать»!

И обидно.
И некого вроде винить.
Телефон в коридоре опять звонит.
Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет
для нас.

И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,
 слишком похожее
на вчера.
Улететь —
 дело очень нелегкое,
потому что погода —
нелетная.

...Самолеты охране поручены.
Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные
 звери они,
будто вышли уже
 из доверья они.
Будто могут
плюнуть они на людей —
на пилотов,
механиков
и радистов.
И туда, где солнце.
 Сквозь тучи.

Над Диксоном
третий день погоды нет.
Третий день.
Рисковать приказами запрещено.

Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
 наигрывает «Домино».
Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.

К вопросу о полярных «волках»

Он в комнату ввалился
с тяжелым рюкзаком.
Дышал он в наши лица
медовым табаком.
Он улыбался пьяненько:
«Живем, брат, ничего!..»
Висел значок полярника
на кителе его.

Рассказывал про то,
 как,
дороги не пробив,
застрял корабль в протоках
разлившейся Оби,
как он случайно спасся
у Каменных Дверей
и кончились запасы
подмокших сухарей.
Как он осилил ветер,
как он жилье нашел
и как убил
 медведя
охотничьим ножом.

Об этом мы, наверно,
не знали ни черта...
Но были мы уверены,
что нам он —

не чета.
Посасывая трубку,
чтоб убедить верней,
показывал он
руку
и сизый шрам
на ней.
Учил,
как надо табаком
делиться
без обид,
как надо пить
одним глотком
неразведенный спирт.
Слова звучали веско, —
солидные слова:
— Мне Арктика известна
до тонкостей,
братва...
И вот теперь внезапно, —
хоть я и сам не рад, —
я должен ехать завтра
по делу
в Ленинград.

Но тут Сережа Братников
прервал его:
— Шалишь!
Да ты ж
неделю в Арктике.
О чем ты говоришь?!
Чего за рюмку
прячешься?
Иль не узнал меня?
Ведь ты в конторе
плачешься
уже четыре дня...
Бежишь отсюда?
Ладно,
катись —
переживем!
Таких, как ты,
обратно —
умри, —
не позовем!
Беги,
другим рассказывай,
другим втирай очки.
Валяй, в Крыму

показывай
полярные
 значки!
Не надо делать драмы,
с нами – не дури...
Ответь мне лучше прямо:
струсил?
Говори!..

И тот пошел,
 поехал:
мол, начал вдруг болеть...
Мол, надо ж человека
когда-нибудь
жалеть...
Приехал необдуманно...
Почти что без вещей...
А тут
 метели дунули...
И нелегко...
Вообще...
Мол, хоть и не партийный,
но знаю, что к чему...
И ежели противно
здоровью
 моему...
Культурный, мол, не просто...
В отличие от других...

Ему сказали:
– Брось ты!
Видали мы
таких!

...И тем же самым вечером
морозною порой
из-за стола развенчанным
поднялся наш
 «герой».

Он трубкой не попыхивал
и не смотрел на нас, —
батон в рюкзак
запихивал,
наверно, в пятый раз.
Сказал перед уходом,
к нам обернувшись вдруг:
– Сдыхайте,
коль охота.
А я махну

на юг!
Наплачетесь —
попомните...

Дверь щелкнула замком...
И долго
пахло в комнате
прогорклым табаком.

Ушел самолет

Вам каждый второй расскажет
невдуманную историю, —
(об этом
не пишут в газетах,
песен об этом
не слышно),
но я видел сам однажды:
ушел самолет на Викторию.
Ушел самолет, покачиваясь.
Ушел самолет,
и крышка...

Одиннадцать дней радисты
усталых глаз не смыкали.
Обшаривали пилоты
каждый клочок земли.
Людей,
потерпевших бедствие,
одиннадцать дней искали.
А на двенадцатый
утром
радировали:
«Нашли!»
Нашли?
Но тогда скажите,
зачем же, кусая губы,
начальник аэропорта
не смотрит в глаза другим?
Кому эти черные ленты?
Зачем же оркестр из клуба
в притихшем
маленьком зале
негромко играет гимн?..
Упругий морозный воздух
морзянка сечет на части,
земля беспокойно вздрагивает,

известием растревожена...

И сообщают об этом
женам одним
да начальству.
Женам —

так, как приказано.
Начальству —
так, как положено...

А в доме возле Арбата
матери верили снам.
Им снилась немая пустыня
без края и без конца.

Белесый сынишка штурмана
проплакал в тот день допоздна
под огромной картой Арктики
в кабинете отца...

По-прежнему шли самолеты
трассой предельно трудной.

По-прежнему
долгим выюгам
никто не хотел сдаваться...

И над молчаливыми льдами,
над бесконечной тундрой
висели на ниточках звезды,
готовые
оборваться.

Летчики

Экипажу полярного летчика А. Старова

Грохали двери.
Люди вносили
в низкую комнату
пар светло-синий.

Только входили,
только вступали,
как заколдованные, засыпали...

Спали пилоты.
Механики спали.

Спали
как будто впервые с рожденья,
спали
с невиданным наслаждением.

Там, где попало.
Там, где упали.
За все предстоящие недосыпы
спали на совесть.
 Взахлеб.
Но не вдоволь...
Утром
 они говорили:
 «Спасибо!» —
и снова были к полету готовы.
Снова ревели моторы призывно,
мерно подрагивая от напряженья.
Штурман в кабине
 привычным движеньем
вешал над столиком карточку сына...
Взвизгивали,
бесновались метели.
Черные тучи смертью грозили...
Люди острили.
Люди
 летели.
Делали дело.
Наград не просили.
В жизни такой
 они толк понимали:
только по крупной
играя со смертью,
шли на посадку —
где бы сломали
ногу
даже бывалые
 черти!
Небо встречало их снегом и ливнем.
Небо пугало...
Но в мире просторном
больше,
 чем всяким приметам счастливым,
верили эти люди
моторам.

...Мне бы
 размах этих крыльев!
Мне бы
эту огромность бездонного неба!
Это святое презренье к покою.
Силу б такую.
Сердце такое.
Может, немного
 в жизни смогу я.

Только с собою
беру вместо клятвы
то, что сейчас повторяю,
смакуя:
– Люди крылаты.
Люди крылаты...
Бейся ж,
веселая песня,
в моторе
в дни снеговые,
в ночи сырые!..

Люди крылаты!
Крылаты!!
И горе
тому,
кто рискнет им подрезать
крылья.

Северное

Ты уйди!
Ты не стой на холоде.
По домам пора.
По домам.

...Как накурено
в этом городе!
Навалился,
наполз туман.
Удивляются люди:
– Откуда он
появился
этакой массою?! —
Все густой пеленой окутано,
хоть руби,
хоть на хлеб намазывай!
Стали громкие фразы
невнятными.
Тротуары сделались
тесными.
Стали улицы
непонятными,
бесконечными,
неизвестными.
На себя не похожа
площадь —

притаиться она решила.
Вот машина идет на ощупь,
еле двигается

машина.

Спотыкаясь,
не там сворачивая,
останавливаясь порою,
ходят люди,
будто незрячие,
руки выставив перед собою.
Озираются непонимающе,
повторяют:
– Ну и туманище!..

Объясняя это явление,
эрудицией
 жителей радуя,
обещает на завтра
радио
незначительное потепление.
Забирается стужа в валенки,
и слова застревают в горле.

Как накурено
в этом городе,
очень старом
и очень маленьком.

Арктическая болезнь

К.А. Сычеву

Не трудись над хитрой вакциною,
в книги-справочники не лезь...
Существует здесь
медициною
не изученная болезнь...
Если парень,
 сидя в палатке,
грустновато,
не сгоряча
говорит:
«Заболел я...
 Арктикой...» —
то к нему не зовут врача.

Заболел я Арктикой —

это
значит, Арктика
сердце взяла
и неласковым голосом ветра
человека
к себе позвала!
Значит, где б ты теперь
ни странствовал,
на пороге
любой весны,
будешь бредить полярными трассами,
будешь видеть снежные сны...

...Ну, а что в ней,
скажите,
особого —
в этой путанице ледяной?
Реки теплые,
горы высокие
обошли ее стороной.
Обошли,
обделили,
обидели...
Только это все —
не беда!
Если б вы хоть однажды
увидели
угловатую царственность
льда,
если б вы хоть однажды
поняли
долгожданного солнца
приход,
если б легкие вы наполнили
звонким воздухом
этих широт,
если б вы извели
счастье
и величие дружбы земной, —
вы, конечно, тогда —
ручаюсь я! —
повторили бы вместе со мной,
повторили —
одни
украдкой,
а другие —
в голос крича:

— Заболел...

Заболел я
Арктикой!
Не зовите ко мне врача.

«Не ревнуй меня к дороге...»

Не ревнуй меня к дороге,
к неудачам и удачам...
Принимаю все упреки,
но иначе?
Как
иначе?
Не ревнуй меня к вагонам,
не ревнуй меня к проселкам,
к верхним полкам,
тряским полкам
и пейзажам законным.

Говоришь ты мне сердито:
«Я не выдержу —
обижусь.

Ну подумай,
рассуди ты —
я ж тебя почти не вижу!
Неужели ты не кончишь
постоянные тревоги?
Неужели ты не хочешь
дома быть,
а не в дороге?»

Милая...
Давай проверим, —
накрепко закроем двери.
Будем мы вдвоем с тобою.
Просто двое.
Только двое.
Чтобы ты

на дальний ветер
не была в такой обиде.
Чтобы никого на свете
и не слышать
и не видеть.

Бабушку твою научим,
чтоб она
на каждый случай
говорила всем знакомым:
«Нету дома!»,
«Нету дома...»

...Если будет так,
 как скажем,
то
(почти уверен я)
удивятся очень даже
родственники
 и друзья.
Будут волноваться,
часто
телефоны беспокоя,
будут в нашу дверь стучаться:
– Что стряслось?
– Что такое? —
А потом они
отстанут.
Навещать нас
перестанут.
Позвонят,
так без охоты.
И забудут
 этот дом.
Просидим мы так полгода.
Год, допустим.
А потом...

Ты ж сама
(поверь на слово!)
подойдешь ко мне сурово
и совсем без тени смеха
скажешь
 нервно и жестоко:
«Ты б уехал ненадолго!
Ты б куда-нибудь
 уехал...»

Ровесникам

Артуру Макарову

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
 такие...
Сто разлук
нам пророчили
 скорую гибель.
Сто смертей

усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали...

Мы
росли —
поколение
 рвущихся плавать.
Мы пришли
в этот мир,
 чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно...
От земли
города поднимаются круто.
Век
суров.
Почерневшие реки
 дымятся.
Свет костров
лег на жесткие щеки
 румянцем...
Как всегда,
полночь смотрит
 немыми глазами.

Поезда
отправляются по расписанию.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
 сдержанно хвалим...
Но
опять
уезжаем,
 летим,
 отплываем!
Двадцать раз за окном
зори
 алое знамя подымут...

Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,

которые сраму
 не имут.
Ничего
не сказав.
 Не успев попрощаться...

Что
 с того?
Все равно: это —
 слышишь ты? —
счастье:
сеять хлеб
на равнинах,
 ветрами продутых...
Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!

«Некриливо и незаметно...»

Некриливо и незаметно
великанами
стали ребята.

Путь в три тысячи километров —
все равно что для нас
от Арбата
до Никитских ворот
 добраться.
Впрочем, что я, —
гораздо ближе!..

Лед,
который на солнце плавится,
длиннохвостые ветры лижут...
Бросив вызов этой пустыне,
по одной
по своей охоте
великаны
живут на льдине,
фантазеры
по льдине ходят.

Расстояний
 не замечая,
москвичей покоя лишая,
на полярную ночь
 приглашают,

как на чашку чая!

Возвращение

Четырнадцать часов полета,
и —

Москва...

Молчи.

Не говори ненужные слова.

Аэродром.

Синеющий лесок.

Через него —

шоссе наискосок.

Недвижна голубая крутизна...

Стоим —

оглушены,

удивлены.

Деревьями и воздухом

пьяны.

«Вот мы и возвратились, старина!»

..И можно,

никого не удивив,

шоферу крикнуть:

«Эй!

Останови!»

Быть наяву,

не выходя

из сна, —

упасть в траву,

услышать, как растет она.

Глядеть вокруг.

По лугу медленно пройти...

Ослепнуть вдруг

от грянувшего пенья птиц.

Нарвать ромашек.

Вымокнуть в росе.

И вновь смотреть,

как косо

падает

шоссе.

Смеяться,

петь до хрипоты,

кричать!

...Как мог я раньше этого

не замечать?!
Как мог я думать,
будто понял
жизнь?..
То вверх,
то вниз летит шоссе, —
держись!
А мы молчим...
Шоссе — то вниз,
то вверх.
Звенит оно,
летит оно
к Москве!
К Москве.
К тебе...
Закрыть счастливые глаза.
И вдруг понять,
что через полчаса —
то,
чем ты жив:
твой город.
Твой порог.
Твоя судьба —
начало
будущих дорог.

«Необитаемые острова» 1962

Часы

– Идут часы...
– Подумаешь, —
 открыть!
Исправны, значит...
Приобрел —
 носи...

– Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
 идут часы!
Неслышные, торопятся минуты,
идут часы,
 стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
 живущим не дано...
Часы недлинной жизни человека,
увидите, —
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите, —
 я не отворю!..

Зароешься,
 закроешься,
 не вступишь,
свои часы дареные испортишь,
забудешь время
 и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.
Гордясь уютной
тишиной квартиры
и собственной хитростью
 лучась,
скорее
двери забаррикадируй!..

Но час
 придет!
Неотвратимый час.
Наступит он в любое время года
на мысли,
на ленивые мечты.
Наступит час
 на сердце и на горло...
И, в страхе за себя,
очнешься ты!..
И разобьет окошко
 мокрый ветер.
И хлынут листья
 в капелькак росы...

Услышишь:
бьют часы!
И вслед за этим
почувствуешь:
наотмашь
 бьют
 часы!

Людям, чьих фамилий я не знаю

По утрам
 на планете мирной
голубая трава в росе...
Я не знаю ваших фамилий, —
знаю то,
что известно всем:
бесконечно дышит вселенная,
мчат ракеты,
 как сгустки солнца.
Это —
 ваши мечты и прозрения.
Ваши знания.
Ваши бессонницы.
Знаю только,
 что где-то
 ретиво,
в предвкушеньи военного грома,
зря
от тяжести реактивной
прогибаются аэродромы!
Не рискнут они.
Не решатся.

Вашей силы
они страшатся.
Называют вас просто:
«атомники»,
именуют скромно
«ракетчиками»...
Дорогие наши товарищи,
лишь известностью
не обеспеченные.
Вам даются награды
негласно.
Рядом с нами вы.
И не с нами.
Мы
фамилий ваших не знаем,
только вы и на это
согласны.
От чужого укрыты взгляда,
от любого укрыты взгляда, —
ничего не поделаешь —
надо.
Ничего не попишешь —
надо.
О, суровая правда века!..
Люди в чьих-то штабах
упрямы.
Составляет чья-то разведка
далеко идущие планы
и купюры
крупные
стелет...
Только что вам
до этих денег!
Вы бы даром
светло и доверчиво, —
если б дело пошло на это, —
положили б
к ногам Человечества
все до капельки сверхсекреты!
Сколько б вы напридумали разного!
Очень нужного
и удивительного!
Вы-то знаете, что для разума
никаких границ не предвидено.
Как бы людям легко дышалось!
Как бы людям светло любилось!
И какие бы мысли
бились
в полушарьях

земного шара!..
Но пока что над миром веет
чуть смягчающееся
недоверье.
Но пока дипломаты высокие
сочиняют послания
мягкие, —
до поры до времени
все-таки
остаетесь вы
безымянными.
Безымянными.
Нелюдимыми.
Гениальными невидимками...

Каждый школьник в грядущем мире
вашей жизнью
хвастаться будет...
Низкий-низкий поклон вам,
люди.
Вам,
великие.
Без фамилий.

Новости

О, газеты свежие —
хлеб мой
утренний...
Извиняясь вежливо,
плыву в толпе уличной.
Очередь
длиннящая
на площади Восстания...
— За чем стоят, юноша?
— За новостями!..

Новый день,
новый день.
Да и то правда:
что за день
без новостей?!
Это даже странно.
День такой —
побоку!
Пусть скорей проносится...
Порою

пахнут
 порохом
новости,
новости...
А в газетах
 важное
скудно,
скупое.
Но гудит
 тревожное:
Куба!
Куба!..
Я читаю жадно,
меня торопит
 очередь...
На Кубе сейчас жарко.
Кубе трудно.
Очень.
Над Кубой благодатною
небо
 клубится...
Хлопцы бородатые,
кубинцы,
 кубинцы,
вам в предательской ночи
грозят
 чужие армии...
Милые бородачи,
с вами я,
 с вами я!..
Пожалуй,
 до субботы
отращу бороду,
в МИД пойду
ругаться
и поеду
 к Кастро!

Необитаемые острова

Снятся усталым спортсменам рекорды.
Снятся суровым поэтам слова.
Снятся влюбленным
в огромном городе
необитаемые
 острова.
Самые дальние,

самые тайные,
ветру открытые с трех сторон,
необнаруженные,
необитаемые,
принадлежащие тем,
кто влюблен.
Даже отличник
очень старательный
их не запомнит со школьной скамьи, —
ведь у влюбленных
своя география!
Ведь у влюбленных
карты
свои!
Пусть для неверящих
это в новинку, —
только любовь
предъявила
права.
Верьте:
не сказка,
верьте:
не выдумка —
необитаемые острова!..
Все здесь простое,
все самое первое —
ровная,
медленная река,
тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
облака.
Ветры,
которым под небом не тесно,
птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное,
словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
литые,
летающие,
мягкая,
трепетная трава...
Только для любящих
по-настоящему
эти

великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое – и все!..
А над ними —
 гроза.
Двое – и небо тысячеверстное.
Двое – и вечность!
И звезды в глаза...
Это не просто.
Это не просто.
Это сложнее любого
 в сто крат...
В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.
Меркнет
 оранжевый отблеск неона.
Гаснут рекламы,
гуденье прервав...

Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
 островах.

Сердце в руках

Я видел, как по Праге,
с прохожими
 встречаясь,
нейлоновое платье
на плечиках качалось.
Качалось —
 незатейливое,
цвета румянца.
Качалось
отдельно,
чтобы не помяться.
Несла его
 девушка, —
как счастье, несла.
Девушка зардевшаяся
на танцы шла...

Но почему я вздрогнул
и холодок —

по коже, —
весенняя дорога
похожа!
Похожа!
С цветов,
зарей вымытых,
сбивая росу,
я на руках вытянутых
сердце несущу...
Идти неудобно —
улицы
круты...
Несу я сердце
к дому,
в котором —
ты.
Какое это сердце —
тебе
разглядеть.
Какое это сердце —
тебе
владеть!..
Веришь или не веришь, —
возьми его,
прошу...
Я позвоню у двери
и сердце положу...
А ты опять рассердишься, —
есть из-за чего.
А ты не примешь
сердца,
сердца моего...
Я это знаю, знаю —
и все же иду...

Улица
сквозная
пророчит беду.
А людям удивительно:
человек идет
и на руках
вытянутых
сердце
несет...

Тогда

Тогда
 мы жили в Омске.
Там
в сорок втором году,
в весну
мы радовались не цветам,
а рассыпному толокну.
Я помню все:
 и лебеду,
и очереди без числа...
На клумбах
 в городском саду
картошка запросто росла.
Не смейте, люди, забывать
об этих днях,
о той весне...

Тогда б
 я не сумел понять,
что это значит:
свет в окне.
Как это можно:
спать
 взасос
и говорить не о еде,
и слышать на сковороде
урчание
 яичных солнц.
Ходить спокойно по земле
и в булочной очередной,
румяным пальцем тыча в хлеб,
брезгливо спрашивать:
«Дневной?»
И возмущаться,
а потом
почти что половину дня
крикливо выбирать батон,
плохую выпечку
кляня.
Устроить за день сто шумих,
ругая нервных продавцов...

Тогда
 мы жили в Омске.
Жмых
для нас был слаще
 леденцов.

В сорок четвертом

Везет
на фронт
мальчика
товарищ военный врач...
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма, —
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
я взрослый
почти...
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
В кармане моем документы, —
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я – сын полка.
Прославленного,
гвардейского,
проверенного в огне...
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
что «браунинг» выдадут мне.
Что я в атаке
не струшу,
что время мое пришло.

Завидев меня,
старухи
охают тяжело:
«Сыночек...
Солдатик маленький...
Вот ведь
настали дни...»
Мама моя,
мамочка!

Скорей им все объясни!
Скажи,
чего это ради
они надо мной ревут?
Зачем
они меня глядят?
Зачем сыночком
зовут?
И что-то шепчут невнятно,
и темный суют калач...

Россия моя,
не надо!
Не гладь меня!
И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто
будущий сын полка.
И никакого геройства
я не совершил
пока!
И даже тебе не ясно,
что у меня впереди...

Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо, —
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом...

В защиту воспоминаний

Я начать хотел с привычного:
«А помнишь...»

Но меня прервал приятель:
– Опомнись!
Погоди!
Я протестую
решительно, —
что вы все воспоминаньями
ушиблены?!

Будто вы уже другого и не знаете,
будто сговорились:
вспоминаете!
То о сказках,
то о встрече с тарантулом,
то о речке за далекой горой,
то о том,
 каким ребенком
талантливым
был с рождения
лирический герой.
О его раздумьях, —
 в общем, неясных.
О его переживаниях в яслях.
Вспоминают
 молодые да ранние...

Я приятелю ответил:
– Все правильно!
Все понятно.
Зрелость так и начинается —
в самом близком,
 в самом простом.
То, что нам
 легко вспоминается,
мы забыть успеем потом.
Принимая пустяки
 за значительное,
мы в недавнем
разобраться хотим.
Наша память —
 как стекло увеличительное,
сквозь нее
в самих себя мы глядим...
И читаем книги
 спорные,
 длинные, —
постигаем знаменитые умы.
И проходим
 под распластанными ливнями,
деловитые,
острящие, —
мы!
Мы шагаем в институты знакомо,
то грустим,
а то впадаем в восторг.
И вручают нам путевки
 в райкомах,
и везут нас поезда

на восток.
Собираемся на Марс,
бредим звездами,
не завидуем
попавшим на филфак...
А мемуары писать
пока не рвемся мы.
Это правда.
Это точно.
Это – факт!..
И одно наверняка уже знаю я:
вслед за мелким,
за пустым,
за неясным
настоящие
придут воспоминания!
Настоящие
о самом настоящем!..
А пока мы песни шпарим на морозе
и на судьбу не собираемся пенять...

Чем моложе человек,
чем моложе,
тем он больше
любит вспоминать!

Игра в «Замри!»

Ю. Овсянникову

Игра в «Замри!» —
веселая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните, —
с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду, —
«Замри!!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
посреди двора...
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства

посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
 будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
 она сказала. —
Будь
 моим!
Моим – и все!
А для других —
 замри!
Замри для обжигающей зари,
Замри для совести.
Для смелости замри.
Замри,
не горячась и не скорбя.
Замри!
Я буду миром
 для тебя!..

На нас глядели звездные миры.
И ветер трогал жесткую траву...
А я не вспомнил
 правила игры.
А я ушел.
Не замер.
Так живу.

Ревность

Игру нашли смешную,
и не проходит
 дня —
ревнуешь,
ревнуешь,
ревнуешь ты меня.
К едва знакомым девушкам,
к танцам под баян,
к аллеям опустевшим,
к морю,
 к друзьям.
Ревнуешь к любому,
к серьезу,

к пустякам.
Ревнуешь к волейболу,
ревнуешь к стихам...

Я устаю от ревности,
я сам себе

смешон.
Я ревностью,
как крепостью,
снова окружен...
Глаза твои

колются.
В словах моих
злость...
«Когда все это кончится?!
Надоело!
Брось!!»

Я начинаю фразу
в зыбкой тишине.
Но почему-то
страшно
не тебе,

а мне.
Смолкаю запутанно
и молча курю.
Тревожно, испуганно
на тебя смотрю...

А вдруг ты перестанешь
совсем ревновать!
Оставишь,
отстанешь,
скажешь:
наплевать!
Рухнут стены крепости, —
зови
не зови, —
станет меньше
ревности
и меньше
любви...

Этим всем замотан, —
у страха в плену, —
я говорю:
«Чего там...
Ладно уж...
Ревнуй...»

Богини

В. Аксенову

Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим...
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла...
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре...
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо...
Они ревнивы так,
что это даже страшно.
Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома...
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная

до зари ни с кем не спорит...

Идут к богиням

два не очень трезвых

бога.

Желают боги одного:

быть собою.

«Будь, пожалуйста...»

А. К.

Будь, пожалуйста,

послабее.

Будь,

пожалуйста.

И тогда подарю тебе я

чудо

запросто.

И тогда я вымахну —

вырасту,

стану особенным.

Из горящего дома вынесу

тебя,

сонную.

Я решусь на все неизвестное,

на все безрассудное, —

в море брошусь,

густое,

зловещее, —

и спасу тебя!..

Это будет

сердцем велено мне,

сердцем велено...

Но ведь ты же

сильнее меня,

сильней

и уверенней!

Ты сама готова спасти других

от уныния тяжкого.

Ты сама не боишься ни свиста пурги,

ни огня хрустящего.

Не заблудишься,

не утонешь,

зла не накопишь.

Не заплачешь

и не застонешь,

если захочешь.
Станешь плавной
и станешь ветреной,
если захочешь.
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.
Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу,
робея:
помоги мне в себя поверить,
стань
слабее.

Ливень

Аленке

– Погоди!.. —
А потом тишина и опять:
– Погоди...

К потемневшей земле
 неподатливый сумрак прижат.
Бьют по вздувшимся почкам
 прямые, как правда,
 дожди.

И промокшие птицы
на скрюченных ветках дрожат...
Ливень мечется?
Пусть.
Небо рушится в ярости?
Пусть!
Гром за черной горою
протяжно и грозно храпит...

Погоди!
Все обиды забудь.
Все обиды забудь...
Погоди!
Все обиды забыл я.
До новых
 обид...
Хочешь,
 высушу птиц?
Жарким ветром в лесах просвищу?

Хочешь,
 синий цветок принесу из-за дальних морей?
Хочешь,
завтра тебе
озорную зарю посвящу.
Напишу на заре:
«Это ей
 посвящается.
Ей...»
Сквозь кусты продираясь,
 колышется ливень в ночи.
Хочешь,
тотчас исчезнет
 свинцовая эта беда?..

Погоди!
Почему ты молчишь?
Почему ты молчишь?
Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты поверишь,
 когда
отгрохочут дожди.
Мир застынет,
 собой изумлен.
Ты проснешься.
Ты тихо в оконное глянешь стекло
и увидишь сама:
над землей,
 над огромной землей
сердце мое,
сердце мое
 взошло.

Жизнь

Г.П. Гроденскому

Живу, как хочу, —
светло и легко.
Живу, как лечу, —
высоко-высоко.
Пусть небу
 смешно,
но отныне
ни дня
не будет оно

краснеть за меня...
Что может быть лучше —
собрать облака
и выкрутить тучу
над жаром
 песка!
Свежо и громадно
поспорить с зарей!
Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
открыть,
над миром,
над морем
раздольно
 парить!
Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.
Живу, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
 как споткнусь...

Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»

На плесе

На плесе,
на плесе
немеешь от восторга.
Хотя мы
 на плесе
лишь гости.
И только...
Я в танце как в смерче
витаю,
отчаясь...
Все меньше,
все меньше
за себя ручаясь!..
Язык полунамеков,
где все еще —
 в наметках,

где всхлипы
оркестра
и легкое кокетство.
Шуршащие нейлоны
и парни,
 как лорды!
И ревность,
и мука,
и вихревая музыка.
Заманчивые плечи,
разбитые надежды...
Да что ж это?
Да где ж я?
На плесе.
 На плесе.
На плесе —
спокойно...

А мамы,
 а мамы
забыто и туманно
на плес глядят с балкона.
Испуганно и чутко
застыли в движенье:
«Ну, как моя дочурка?
Как там
Боженка?!
Парень с нею нежен, —
ни на кого не смотрит...
Приятно,
 конечно...

Но молод.
Молод!..
Угощает рьяно...
Да что уж там!
 Ладно...
Но замуж ей рано!
Рано!
Ой, рано!..
Ее я,
 наверно,
предупреждала мало...»

Скажу вам откровенно,
товарищи мамы:
благие возраженья
отвергнуты отважно.
Теперь уже Боженка
не ваша,

не ваша!
Теперь уже не спросит,
не спросит,
 не скажет...
А все будет проще:
однажды,
однажды
придут они
 вместе, —
от страха чуть живы...
«Мы с Иржи
решили...
Решили...
 Не смейся...»
Да где уж там смеяться
(и руки как плети)...

А все было ясно
на плесе,
на плесе.
На плесе,
 где жарко,
где музыка роскошна...

Где мы —
только гости.
Вот что мне жалко.

«Полны подвалы Эгера...»

Полны подвалы Эгера
богатством дорогим.
Полны подвалы Эгера
вином —
да каким!

В подвалах,
 как в забое
прохладном и глубоком.
В подвалах,
 как в соборе,
где бочки
вместо бога!
А в каждой из бочек
веселье клокочет.
А в каждой
 столько свадеб,

что их, пожалуй,
хватит
на пять
тысячелетий!
На сотни
поколений!
Хватит,
достанется,
да еще останется!
А в этих
чанах
до самого верха —
венгерский чардаш
будущего
века!

А в этих
пенится,
крепчая постепенно,
свиданья первые,
рожденья первенца!..

Конечно,
так и будет! —
я слышу не напрасно
размашистые бури
будущих праздников!..
Теперь мы это поняли,
теперь уже
нам верится
и в надпись
(явно спорную) —
«ИН ВИНО —
ВЕРИТАС!»

В этом виноделы
понимают толк...

Но что же ты наделал,
медок,
медок?!
Стаканы
вновь полные.
Каблуки —
дробью!..
Что дальше —
не помню.
При всем моем
здоровье.

Чардаш

Ходит пол
 ходуном, —
танцуют венгры.
На раздолье степном
разгулялись ветры...
А скрипач, —
 ай, скрипач!
Ах, дьявол!! —
к скрипке
 прикипел-припал
плечом окаянным!
Он так придумал,
 так захотел,
так приказал он...
Скрипки бешеная метель
бушует по залу!..

Проходит девушка одна,
хрустя
 юбкой.
На всех посматривает она
легко и юно.
Чего, мол,
 ты застыл, чудак, —
стоишь смирно.
Я просто так,
 просто так
иду
мимо...
Я, может,
 еще раз взгляну,
пожму плечами...

И вдруг, —
 повернувшись ко мне:
 «А ну,
станцуем чардаш!»
И вот пошло!
 И вот началось!
Закружилось!
И вот над нами
 две тысячи гроз
ахнули,
ширясь!..
А сердце звенит:

пропал, пропал...
Рушатся стены...
А скрипач, —
ай, скрипач!
Ах, стерва!!
Эгей,
черт тебя возьми!
Давай чаще!!
Танцуем мы,
танцуем мы
чардаш!
Чардаш!..
Земля, кружись!
Мир, кружись!
Кружись и смейся!..
Раскручивается
наша жизнь
с планетой вместе!
Пускай другие
берут покой,
сон
и молчанье...

А мы выбираем
огонь!
Огонь!
Чардаш,
чардаш!..
Мелькают лица,
летят слова
по белому свету...

Если закружится голова
у старой планеты,
стыдиться этого
не должна
планета,
ручаюсь —
вместе с нами
в тот вечер
она
танцевала чардаш.

Взрослеют люди

Мальчики
пьют не на свои.

На чужие пьют.
На папашины...
Глазки у мальчиков —
 запавшие.
Губы —
 цвета выжженной земли.
Ресторанный стол
 от еды ломится.
Ресторанный пол
 от беготни кренится.
Мальчики
шалым вином греются.
Основательно пьют.
Не торопятся.
На тарелочках
 желтеет жирно семга.
Разгулялись мальчики
во всю ивановскую!
Говорят официанту:
— Ша, Сема!
Мы сегодня при деньгах,
неси шампанское!.. —
Говорят официанту:
— Брось жалеть!
Коньяку тащи!
Подсыпь на пятак... —
Мальчики
решили взрослеть...

А взрослеют
 люди не так.
Не в вине, не в лихорадочной мгле,
не в чахоточном дыму папирос.
Люди взрослеют
 на земле,
мокрой
 от рокошующих гроз!
Взрослеют люди,
 понимая простор.
Возвращаются
 встречать свой рассвет,
повзрослев на полках
дальних поездов,
повзрослев на скалах
ближних планет.
Взрослеют люди
 на распеве крутом.
Взрослеют,
сердце для других разбросав...

И не пьют?
Да нет – пьют!
 Дело не в том.
Дело в бол! ьшем.
Дело в честных глазах...

Ладно, мальчики!
Гулять – так до зари.
Пусть над вами
 люстры звякают хрупко...
Мальчики
 пьют не на свои.
Задолжали сами себе.
Крупно!

Творчество

Э. Неизвестному

Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
 в правоту резца...
Но постепенно
из сплошного чада
плывет лицо.
Верней —
 подобие лица.
Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
 женщине,
 герою,
 старцу...
Так оживает камень.
Он —
 в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже
 с мгновением великим

решимость Человека сплетена.
Но вот уже
 грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
 Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
 не спешить!
Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
 жить.
Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
 толчками
 каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
 течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
 гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаврадашнего ветра.
В меня уже вошла
 твоя весна!...»
А человек,
который создал
 это,
стоит и курит около окна.

Аркадию Райкину

Ваш выход, артист.
Ваш выход.

Забудьте
усталость и робость...
Хотя не для вас ли вырыт
зал,
бездонный, как пропасть?
И вам по краю,
по краю,
по очень опасной грани,
по грани,
как по канату,
с улыбкой двигаться надо...
Ваш выход, артист...

Вы сами
не создавайте иллюзий,
что люди,
сидящие в зале, —
сплошь
достойные люди.
Конечно, достойных гораздо
больше, —
куда ни взгляни.
Все это так.
Но разве
ждут вас
только они?..
Вот эти, —
которые в третьем, —
они вас встретят истошно,
они вас овацией встретят!
Но вы же знаете точно:
они от безделья
лечатся, —
на прочее им наплевать, —
они пришли
поразвлекься,
животики надорвать...
А вот,
ожидая шуток, —
самодовольства полон, —
сидит
почтеннейший жулик,
который пока
не пойман.
Он будет во время вечера
брюзжать, что в зале
жара...
Так что ж вы здесь,
вроде веера?..

Ваш выход, артист.
Пора...
Зал
покашлял внушительно
и трепетно замолчал...

Да здоровствует
оглушительная
ненависть к сволочам!
Во весь разворот
без остатка,
высокое слово,
трудись!..

Пора...
Поднимайтесь в атаку.
Ваш выход,
товарищ артист!

Окна, которые нарисованы

Владимиру Резвину

Вот на доме
потемневшая охра.
И от этого сразу же заметнее
неживые,
нарисованные окна —
с настоящими рядом.
Для симметрии...
Как старался художник!
Как старался!
И, наверное,
себе казался смелым.
Как он в тайнах искусства
разбирался!
Даже стекол блеск
передать сумел он...
Нарисованные окна?
Пустое!..
Только я хочу туда
постучаться!
Кто живет
в нарисованном доме?
Создает
нарисованное счастье?..
Расскажите,

почему,
 зачем я верю
в то,
что, выпятив бумажные груди,
важно входят
 в нарисованные двери
нарисованные, плоские люди.
Головами
 нарисованно качают,
на судьбу свою
не слишком в обиде.
На приветствия живых
 отвечают...

Вы не видели таких?
Я видел!

Париж, Франсуазе Саган

Пишу вам по праву ровесника,
уважаемая Франсуаза...

Возможно,
вздохнув невесело,
письмо вы поймете не сразу.
То,

 над чем вы горюете,
вы знаете лучше всего...

Ходят по улицам

 люди

возраста моего.

В Лондоне и в Париже

замашки у них одни.

Свое поколение

лишним

всерьез

 называют они.

Они вас считают

 знаменем

неверия и порока.

Они вас считают

 снадобьем

и даже чуть-чуть

пророком.

Пророки обычно безжалостны,

но я не под богом

рос...

Ответьте, пророк, пожалуйста,
на очень нестранный
вопрос:

кому вы

все ж таки

лишние,

парни,
нарочно небрежные?

Девчонки,
модно подстриженные,
не слишком гордые,
грешные?

Зачем ваши души

выданы

в липкие лапы молвы?

Кому это все ж таки

выгодно,

чтоб лишними
были вы?

Чтоб вы обо всем
забывали?

Чтоб жизнь вам казалась
тесною?

Чтоб вы

вином запивали

песню,

лишь с виду дерзкую:

«Мы

лишние.

Мы неумные.

Нас понимает

любой!

Политики

не признаем мы,

а признаем любовь!

Рабы

разгулявшейся плоти,

мы —

лишнее поколение —

унылое чувство

локтя

сменили

на чувство колена.

Мы лишние,

лишние,

лишние!

Лишние ночью и днемно!..»

Конечно,

все это —

личное,
личное ваше дело...
Но вот
к небрежному парню
неумолимо и веско
однажды —
для вящей памяти —
ляжет на стол
повестка.
«Я лишний...
Не надо!
Я лишний...
С политикой я не знаком».

Но рывкнет фельдфебель рыжий:
– Прр-р-рямо-о!
Бегом!! —
А через пару суток
в очень серьезный день
парню
дадут подсумок,
в котором —
сорок смертей.
Потом поведут —
погонят
(он будет не лишним
в строю!).
И пуля его уколет
в Африке,
в первом бою...
Над высушенной гвоздикой
прошебаршит гром.
И на песок
тихий
тихо
вытечет кровь.
Станет сердце
неслышным.
Небо застынет в глазах..
«Не надо...
Ведь я же
лишний...» —
успеет парень
сказать.
Но будет
грохотом танка
в землю
вдавлена фраза!
И все оборвется...

Так-то,
уважаемая Франсуаза.
А где-то
 в своем Париже,
которого не повторить,
станет девчонка стриженная
лишние слезы
лить.
Лишними станут подруги,
лишним покажется март,
лишними станут руки,
привыкшие обнимать.
Будет войной зачеркнут
ее молчаливый Жан...
Мне жалко
 эту девчонку.
Мне этого парня
жаль.
Небрежного,
 лишнего парня,
которому нравится бокс.
Который в своей компании —
по общему мнению —
бог.
Он говорит медлительно,
он знает
 новинки джаза.
Он очень не любит политики.

Он верит вам,
Франсуаза.

О дорогах

В.А. Луговскому

Есть кладбище дорог.
Не слышали?
Есть кладбище дорог.
Не знаете?!
Закованы
 в глухие наледы.
Заметены песками
 рыжими.
Дороги мертвые,
 холодные,

дороги длинные
и страшные,
забывшие надежды радужные,
засыпаны и захоронены...
Они от ливней не лоснятся,
над ними ветер
не проносится.
Я знаю:
мертвым
сны
не снятся!
К дорогам
это не относится.
Я верю:
им
через годы,
полузабытым,
тихо грезится:
они опять
на солнце греются.
Они опять необходимы.
И снова
терпко пахнут пряности,
и туча гроыхает вешняя,
и караван шагает вежливо
дорогой слез,
дорогой радости...
И вновь стерня сухая
колетса,
и суженые вновь прощаются.
Храпящая
проходит конница,
с подковами
теряя счастье...
Дороги грезят,
опечалены
несбыточностью этих снов...
А в каменную пыль впечатаны
следы босых
дубленых
ног!
Дороги длинные, протяжные
засыпаны и захоронены...
Над ними
города построены.
Легла земля слоями тяжкими.
Большое солнце
светит ласково,
гудроны по земле распластаны.

Мерцают
рельсовые лезвия...

Им хорошо.
Они —
железные.

Вечер в горах

М. Джангазиеву

Вечер неудержимо
двигается туда,
где в солнце вцепилась вершина
сумрачного хребта.
Вцепилась угластыми склонами,
замкнула на сто замков
скрюченными,
холодными
пальцами ледников.
Переливается медно...

Но вечеру
не до игры.
Он подступает медленно
к самому горлу горы.
Он тихий,
он мягкий, как олово...

И, грузные веки смежив,
засыпает гора,
под голову
облако положив.

Памятник Пржевальскому

А. Салиеву

Пыль
спокойно и жирно
на дорогах прожаренных
млеет...

Даже горы стареют.
Даже вечные горы —

в морщинах.
Даже скалам бессменным
все чаще
мерещатся грозы...

Я узнал,
что бессмертен
орел,
ставший мертвою бронзой!
Я узнал,
что нередко,
высотой ледниковой натешась,
на него заглядевшись,
замолкают
падучие реки...

Мы порою орем
о смешных,
пустяковых обидах...
Неподвижный орел
всей своей оперенностью —
в битвах!
Всей крылатостью —
в небе!..

И, взглядом окинув дороги,
выбирает из многих
ту,
которая людям
нужнее.

Стадион

Поверить не хочу,
что это сделано
из камня,
из металла
и из дерева.
Что эти переходы кружевные —
холодные,
немые,
неживые...

Нет!
Он живой!
Мы с ним теперь приятели.
Меня он принял
в теплые объятия —

прожаренный безоблачными полднями,
тысячеглазой публикой наполненный,
наполненный волнениями и страхами...
От всех болезней

он находит снадобья, —

он поглощает
реки лимонадные,
похрустывая

свежими баранками...

...А как преобразается движение,
когда кипит

спортивное сражение!

Когда он —
озорной,
помолодевший —
вздыхает

то с упреком,

то — с надеждой.

Как он вникает в каждую подробность!

И видит все.

И ненавидит робость!

Стремительность и слаженность приветствуя,
он сердцем отмечает

каждый промах.

Когда ж он произносит

слово веское,

то это пострашней,

чем грохот грома!

Действительно, ничем неудержимо...

Как он тогда клокочет и дымится,

похожий на взрывчатку,

на пружину,

готовую в секунду распрямиться!

До самого конца не затихает...

...А вы видали,

как он отдыхает?

Вы пробовали

на него взглянуть,

когда полночный город

успокоится?..

Спит стадион,

в тугой клубок свернув

трибунные

натруженные кольца.

Под водой

С головою накрыла,
понесла,
закружила волна...

И меня обступила,
обняла тишина,
тишина...
Запотевшая маска.
Прохладная
 синяя жуть...
Обитателем
 Марса
себе самому я кажусь.
Можно быть невесомым,
можно птичий полет повторить.
Можно тихо и сонно
в бездонном пространстве
 парить.
Можно весело ринуться
в темноватую,
 длинную глубь
и руками зарыться
в сплетенье невиданных клумб...
Здесь колышутся водоросли
медленно,
не торопясь...
Можно
 в заросли пестрые,
как в свежее сено,
упасть!
Здесь ни всплеска,
 ни всхлипа, —
тишина
говорить не велит...
Онемевшая рыба
губами слегка шевелит.
Камни в рыжих накрапах, —
лоснящиеся бока.
Царство
 медленных крабов,
неслышное царство песка.
Одиноко и тускло
мелькнула кефаль в стороне.
Виснет льдышка медузы,
покорная тишине.

Тишина
 нарастает.
Тишина за спиною встает.

Мне здесь грохота
не хватает!
Мне ветра
недостает!

Рыбаки

С. Красаускасу

Что вы ловите,
 рыбаки?
Что ловите?..
Как всегда,
 неприступны и застенчивы, —
над гудящей рекой
 вы расставили локти,
будто не удочки у вас в руках,
а уздечки.
Будто это не река,
 а конь взнузданный,
будто слышится вам
 топот копыт частый,
будто в жизни вам
только это и нужно, —
вечно мчаться
 за своим рыбацким счастьем.
Пригибаясь к холке коня,
 тихо охаете...
А к высоким сапогам
 глина прилипла.
А в ведерках —
 сплошняком ерши да окуни...
Где ж она —
золотая ваша
рыбка?..

Мимо вас по реке —
 лодки, лодки...
А за моим окном
 глухо шумит улочка.
Я сию,
 расставив широко локти.
У меня в руках не карандаш,

а тоже – удочка.

Я, как вы, рыбаки,

пробую разное.

Мне

ленивую плотву ловить не хочется.

Я в поток ревуший удочку забрасываю, —

по тетрадному листу

круги расходятся.

Расходятся круги,

разбегаются...

А улов мой

вяло иглами ершится.

Над усталой головою

солнце катится,

в каждой капле отражаясь,

в каждой жизни...

Может, скажут:

«Ты ловить не умеешь!»

Не всегда тебе

терпенья хватает...»

Нет, поймите, —

мне надоела мелочь,

мелочь!

А где —

она?

Где моя рыбка

золотая?

Где она —

неповторимая —

хоронится?

На какой такой глубине опасной?

Как вам ловится,

рыбаки?

Как ловится?

Я желаю вам удачи.

Удачи рыбацкой.

«Ровеснику» 1962

«Нахожусь ли в дальних краях...»

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю, —
от большого,
от главного
я —
четвергуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей.

Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.

С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.

И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока не сгибаясь
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.

Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

Сын Веры

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я – сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера...
Я —
сын Веры!
Веры не в бога,
не в ангелов, не в загробные штуки!
Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.
Я —
сын веры в Завтра —
такое, какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.
Стоящих...

Я —
сын Веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.
Пишу только правду...
Дел – по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

Перед расставанием

Я к тебе приеду поездом,
так, чтобы не знала ты.
На снегу весеннем
 пористом
проторчу до темноты.
В дверь звонить не стану бешено,
а, когда вокруг темно, —
я тихонечко и бережно
стукну
 в низкое окно.
Ты в окошко глянешь боязно,
я сильнее постучу...

Нет!
Я не поеду
 поездом!
Самолетом прилечу.
Да!
Конечно!
И немедленно,
ошалев от маяты,
позвоню из Шереметьева
и в ответ услышу:
«Ты?!
Где?
Откуда?
Что ж ты мучаешь?!

Как приехал?!

Не пойму...»

И тогда
 машину лучшую
я до города возьму.

Полетит дорога по лесу,
упадет
к ногам твоим...

Мне остался час
до поезда,
а мы
о встрече говорим.

Засуха

– Развесели,
хоть чем-нибудь развесели...

– Смотри:
дожди не долетают до земли...
Не долетают,
вянут в мареве густом...

– Да не о том ты!
Вовсе не о том!
Я это слышу сорок дней подряд —
ты лучше о другом...

– Хлеба горят...

– Придумай сказку с радостным концом!
Пусть девушка с веснушчатым лицом
придет, как шум дождя,
как ветра шум...
Придумай сказку —
я тебя прошу...
Пусть хлебом пахнет,
теплым,
аржаным...

Придумай...
– Сумасшедшая жарынь!
Такой горячей,
медленной реки
кудлатые не помнят старики...

– Развесели!
Развесели хоть чем-нибудь!..

– Сухую землю
трактора скребут.
Так светит солнце,

что в глазах
темно.
Жестокое,
свириное,
оно
вбивает в пашню
жесткие лучи...

– Спасибо, друг...
Развеселил.
Молчи.

Рассказ директора районной конторы «заготзерно»

Я не встречал за всю свою жизнь
этакой красоты.
Хлеба такие,
что сверху ложись —
выдержат:
до того густы.
Не верил,
что все это наяву.
Радоваться б надо,
а я
выйду в поле,
стою и реву:
«Погибель
растет моя...»
Вот уж действительно
дело труба!
Подсудное зреет
дело...
«Растите, хлеба!
Наливайтесь, хлеба!
Но только
куда ж я вас дену?...»
Тут арифметика не нужна.
Да что я,
разве ослеп?
Да разве в амбарчик «Заготзерна»
влезет
этакий хлеб!
Я ж в город еще зимою писал...
Требовал.
Умолял!
Угрожал!!
А мне в ответ:

в крайцентр вызывают Смирнова.
Смирнову весь день за звонком звонок
(мы уж и сами не рады), —
Смирнову – письма,
Смирнову – зарплата...
А я
буквально падаю с ног.
Ты вот смеешься,
а участь моя
была непонятней снов.
Я даже поверил,
что я – не я,
а этот самый
Смирнов...

...Представь:
сентябрь.
Под грузом немалым
машины ревут угрожающе.
И в грохоте,
 в ливнях
 сплошным навалом
идет
на меня
урожаище!!
Идет необъятный.
Идет полновесный!
И знает:
 погибнуть ему не позволим...
Навесы.
Навесы.
Навесы!
 Навесы!!
Мы строили их до кровавых мозолей,
за этим делом невиданной спешности
забыв про еду,
 про усталость и славу...
Так строят за ночь
в бою
переправу —
с такой же яростью
и неизбежностью!
А если уснешь,
 то и сны об одном:
грязь,
перемешанная с зерном.
Фары по окнам.
В глазах круги.
Хлюпающие сапоги...

И снова
нет ни ночи, ни дня!
Снова шагаешь,
погоду кляня.
Снова
охрипшая шоферня
кроет господа
и меня...

Потом я читал —
хвалили в докладе:
Смирнов, мол, отлично работу наладил...
Приехал к нам секретарь крайкома
(мы с ним по фронту еще знакомы).
Узнал.
Подивился смирновской славе,
долго смеялись над ней.
Фамилию в грамоте переправил,
вручил эту грамоту
мне...

Сейчас это странно все,
а тогда
думал:
песенка спета...
Большой урожай был...
Прямо беда!
Почаще б такие...
беды.

Твой голос

Линия...
Сколько все ж таки странного
простые слова таят!..
До самой Москвы
столбы телеграфные
за руки взявшись
стоят.
Они хранят трудовое братство
в неласковом свисте зимы.
Они помогают друг другу
взобраться
на горы и на холмы.
Они вникают в любую суть,
им просто некогда зябнуть.
Они стоят.

И слова несут
о любви,
о процентах,
о зяби.
Они
чувствительнее, чем нерв,
и могущественнее, чем бог...
Но вот один проводок,
зазвенеv,
скручивается в клубок.
И слова начинают,
как крупные сельди,
хвостами
бить в невода...
Товарищ врач телеграфной сети,
вылечи
провода!
Пожалуйста, вылечи!
Это надо!
Иначе —
сердце не вынесет...
Товарищ ремонтник,
если бы знал ты,
что!
от тебя зависит!
Скорей!
Чтоб зимнюю ночь рассекло
звонком,
как полоской зари.
Скорей!
Чтоб ревела трубка:
«Алло!!!»
...Говори, Москва,
говори!

Таетжные цветы

Не привез я таетжных цветов —
извини.

Ты не верь,
если скажут, что плохи
они.

Если кто-то соврет,
что об этом читал...

Просто

эти цветы
луговым не чета!
В буреломах
на кручах
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшением
городского
стола.

Не для них
отшлифованный блеск
хрусталя.

Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода...
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной.
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы, —
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они!
Тотчас гибнут они!..

Не привез
я таежных цветов.
Извини.

То, что встречается на каждом шагу

Ходят люди по улицам плавно —
ростом
 выше столбов рекламных.
густолистных каштанов выше...

Из каких они сказок
 вышли?
Ходят в красных костюмах,
 в синих.
Малорослых и слабосильных
высотой своею
 дразнят...

У мальчишек в Софии праздник.
У мальчишек
 забот по горло
стало нынче
от баскетбола.
Просят у великанов добрых
дать значок им или автограф...

Великаны руками разводят.
Улыбаясь
 нежно и робко,
непонятные буквы
выводят
на пустых сигаретных коробках...
И мальчишки
 солидным эскортом
по Софии
 шагают гордо.

Впереди идут —
 руки в боки —
двухметровые
баскетбоги.

Варна

Прежде чем сказать о Варне,
я спрошу тебя сначала:
океан
 воды отварной
ты когда-нибудь встречала?
Любовалась ты
 простором,
полным ветра,

полным зноя?
Ты пила вино,
 в котором
солнце
смешано с волною?
Падала ль тебе на плечи
грусть
 нежданных расставаний?..
Если да —
мне будет легче
рассказать тебе о Варне.

Столько солнца,
 столько сини
я еще не видел сразу!
В наши мышцы
 столько силы
не вливалось ни разу.
Мы испытываем нервы
черноморских пенных недр
(хоть на миг представь ты
 негра
загорелого, как негр!).
Это море,
 этот ветер
возле нас
 стараются:
«Здравствуйте!
Здравей!
Здравейте!
Как вам Варна?
 Нравится?»
На песок прибрежный
 храбро,
важные и скрытные,
сонно выползают крабы
малогабаритные.
Тополей прямые свечи —
будто на рисунке...
А когда приносит вечер
медленные сумерки
и плывут над морем немо
облака неблизкие,
ночь
 расцвечивает небо
звездами,
как брызгами...

Этой ночи

нет коварней.
Этой ночи
нет напевней.
Девушки
такие в Варне,
будто все они
из пены.
Столько всяческих улыбок,
до того они нежны,
что еще два дня...
и был бы
мой рассказ...
не для жены.

«Нахохлятся тяжелые колосья...»

Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.
Потом настанет осень.

Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.
И длинный дождь,
с три короба наплавав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит...

Опавшие,
в оранжевых крапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьей игре,
о месяце грибов и спелых ягод...

И медленное солнце будет таять.
И незаметно
удлинится время.
И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.

«Что такое Нида...»

Что такое Нида?
Это
ветра сонное ворчанье.
Запах моря.
Всплески света.
Крики оголтелых чаек...

Что ж такого
 в этой Ниде —
голубой,
 зеленой,
 белой?
Сказочники,
отдохните!
Вы рассказывали
 бедно...

Что такое Нида?
Это
деловито,
 монотонно
незадолго до рассвета
голос
пробуют моторы.
Вечером идут на отдых
катера,
ветрами терты.
И в резиновых ботфортах
рыбаки
 как мушкетеры...
Ох, уж эта Нида!
Разве
покидать ее
 захочешь?
Нида тишиною дразнит.
И травинками щекочет.
Держит Нида каждым дюймом,
наплевав на возраженья...
И меня
 прижало к дюнам
невозможным притяженьем!
Небывалой силы
 небо,
небывалых красок
 море

уговаривают нежно,
чертыхаются крамольно...

Что такое эта Нида —
я не знаю.
Знаю только:
я за Нидою —
 как нитка
за иголкой!
Это точно!..
Здесь нависли глыбы света.
Здесь любое сердце слышно...

В общем Нида —
 это...
Это...
Надо видеть!
Лично!

«Невероятное спасибо...»

Невероятное спасибо,
 дюны!..
Освобожденно кровь стучит в виске.
Все грустные
 и все пустые думы
растаяли в спрессованном песке.
Спасибо дюнам...

Высоко и прямо
они взлетели —
 за грядой гряда.
Они похожи на большое пламя,
которое застыло навсегда!
Сейчас по склонам
 чайки бродят важно.
Мир
красноватым светом озарен...

Все это ваше,
 люди!
Ваше!
Ваше!
Как мы богаты
 небом и землей!
Как мы богаты ливнями мгновенными
и трепетным дрожанием стрекоз.

остаются!
Остаются строки.
Остается свежесть
 песенной воды...
И если мы пойдем
 по лунной дороге,
то и на ней останутся
наши следы!

«Вы как хотите...»

Ю. Марцинкявичусу

Вы как хотите,
а я за сказкой пойду...
Там
 разъяренное солнце
 пьют, как лекарство.
В сказке живу я отныне.
И Нерингу²
 жду.
Скоро домой возвратится
 моя великанша.
Скоро она затаенным взором
 мир озарит.
Дюны замолкнут.
Зашепчутся травы дремотно.

Левую руку
я положил на залив.
Правой рукою
глажу Балтийское море.

«Отволнуюсь...»

Отволнуюсь.
 Отлюблю.
 Отдышу.
И когда последний час
грянет, звеня, —
несговорчивую смерть попрошу
дать пожить мне.
Хотя б два дня.

² Неринга – героиня народных литовских легенд. (Прим. авт.).

И заплачет...
Ей,
 старухе,
 карге,
жизнь понравится
больше
себя!

Так и надо

Не поможет здесь
 ни песня и ни ласка.
В доме все воспринимают без обид:
лишь тогда,
когда качается коляска,
мальчик спит...
Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер
 снег сдувает с крыш.

Я не знаю,
 что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
 что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —
и уже стоянки
не приемлет.

Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..

Я с коляски тоже
 начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу.

«Я родился...»

за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным.

Память

Память,
ты, как никогда,
 легко ранима, —
ты девчоночьих имен
не сохранила.
Разберись в воспоминаниях нечетких...

Жили-были в нашем городе
девчонки.
Длинноноги,
угловаты,
синеоки, —
назначали нам свиданья возле Омки.
Мы
 терялись и зевали —
в жизнь вникали.
Нас мальчишки называли
«женихами».
Пели хитрые мальчишки
злую песню.
Говорилось в ней
о тесте
 и невесте.
Мы шагали через двор,
двора не видя...

Но потом
мы «исполнителей»
ловили!
Заводили их в подъезд
и терпеливо
совершали суд
святой и справедливый...
А с девчонками
вели себя
 не просто,
и по-взрослому

курили папиросы.
А вообще предпочитали
карамели,
потому что
 притворяться не умели.
Мы для них сирень ломали
вдохновенно...

Но это были не романы,
а так...
Новеллы...
Память, память,
желчь
 и мед —
напрасно споришь:
ты ведь даже их имен
теперь
не вспомнишь...

Старые фотографии

Может,
 слишком старательно
я по прожитым дням бегу...

Старые фотографии,
зачем я вас берегу?
Тоненькие,
 блестящие,
гнущиеся, как жесь...
Вот чье-то лицо пустяшное,
вот чей-то застывший жест.
Вот детство вдали маячит,
кличет в свои края.

Этот насупленный мальчик —
неужто таким
был я?!
Фотограф по старой привычке
скажет:
«А ну, гляди:
отсюда
 вылетит птичка.
Ты только смирно седи».
Он то говорит, что должен, —
профессиональный тон.
«Не вылетела?

Ну что же...
Ты приходи
 потом».
И мальчишка на улицу выйдет
и будет думать, сопя:
«Когда ж эта птичка вылетит?
Какая она из себя?
Синяя или оранжевая?»
И мальчишка не будет спать.
К дому,
 где фотография,
он утром придет опять.
Будет взгляд у фотографа
сумрачен и тяжел.
Он мальчика встретит недобрым:
«А-а,
 это ты пришел!
Шляется тут,
 бездельник,
а ты занимайся с ним...
Не вылетит птичка без денег.
Не вылетит!
Уяснил?»

Паренек уйдет осторожно.
Но, исполнить мечту решив,
он будет копить
на мороженом
сэкономленные
гроши.
Через неделю мальчишка
вернется к дому
 тому.

И опять
не вылетит птичка,
обещанная ему.

И фотограф тогда ответит —
будет голос жесток:
«Нет этой птицы на свете,
пойми ты это, браток.
Я говорю серьезно, —
зря ты птицу искал».

И мальчишка размажет
 слезы
соленые
по щекам.
Покажется маме

на диво
смешною его беда,
что птичка из объектива
не вылетит
никогда...
Он будет плакать.

Не скоро
он забудет свою мечту.

А потом он окончит школу.
А после пойдет в институт.
Поймет он,
 как слово
 дорого.

Повзрослеет.
Выйдет в отцы.

И все же
 не будет любить
фотографов
за то, что они...
лжецы.

Концерт

Сорок трудный год.
Омский госпиталь...
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
«Господи!..
До чего же артисты
 маленькие...»

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
 с мандолинами
и большими пачками книг...
Что в программе?
В программе – чтение,
пара песен
военных, правильных...

Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением...
Двое здесь.

Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
 под Ельней
на себя принявший огонь.
На прищельцев глядит он весело...
И другой —
 до бровей забинтован, —
капитан,
таранивший «мессера»
три недели назад
 над Ростовом...
Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но всюду запевале внимая,
о народной поем,
 о священной
так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
 в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война...
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем — укор:
«Погодите...
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер
 майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду...

...Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.

«– Почем фунт лиха...»

– Почем фунт лиха?
– Не торгую
лихом.

Дверь в детство открывается со скрипом.
В который раз
мне память подсказала
пустынную дорогу до базара.
А на базаре
шла торговля
лихом!
Оно в те годы
называлось жмыхом.
Сырыми отрубями называлось
и очередью длинной

извивалось.
Оно просило сумрачно и сонно:
– Куплю буханку
за четыре сотни...
– Меняю сапоги
на поллитровку...

Оно
шагами мерилу дорогу.
В дома входило,
улиц не покинув,
то строчкою:
«Оставлен город Киев...»
То слишком ясной,
слишком неподробной
казенною
бумагой похоронной.

И песни вдовьи
начинались тихо:
«Ой, горюшко!..
Ой, лишенько!..
Ой, лихо!..»
Глазами мудрецов
смотрели дети.

Продать все это?

За какие деньги?
Кто их чеканит?
Из чего чеканит?
Кто радости от горя
отсекает?..

Да, люди забывают о потерях.
Обманы терпят.
И обиды терпят.
Да, пламя гаснет.
Стоны затихают.
И даже вдовьи слезы
высыхают.
И снова людям
новый век отпущен.

Но память
возвращается к живущим.
Приходит память,
чтобы многократно
перехлестнуть календари
обратно.
Она в ночи плывет над головами
и говорит неслышными словами
о времени
суровом и великом.

Я помню все.
Я не торгую
лихом.

«Голос начищенной меди...»

А. Флярковскому

Голос начищенной меди,
ты в детство зовешь меня.
Туда,
где сады соседей
обшаривала ребятня.
Туда, где, от пыли
желт,
полк через город
шел.

А мы, уяснив для себя
значение этого факта,

неуверенно кружащийся,
ничей.

Неживой,
 мохнатый,
 медленный снег
одевает в горностаи
москвичей.
В горностаевом пальто
идет студент.
В горностаи
 постовой разодет...
Я люблю смотреть на белую рябь.
Фонари плывут над улицей —
горят.
Как наполненные пламенем
 ноли,
по-домашнему
горят фонари.
Пухлый снег идет,
и я за ним бегу.
Снег запутался в сплетенье кустов...

На снегу,
на очень тихом
 снегу —
восклицательные знаки
следов!

Города

Города, начинающиеся с вокзалов...
Есть у каждого города
возраст и голос.
Есть одежда своя.
И особенный запах.
И лицо.
И не сразу понятная гордость...

Города, города!
Сколько было вас —
разных?!
Деревянные,
 каменные,
 глинобитные,
будто гвозди,
в промерзшую землю

забитые,
города,
где любовь,

и работа.
И праздник...
Сколько раз, города,
вы
бежали навстречу,
задирая над нами кулаки семафоров?..
Становился все ближе,
различался все резче
и домов
и заборов запутанный ворох...
Города,
озорные и полные грусти...
Сколько раз
к запыленным вагонам несли вы
папиросы и яблоки,
рыбу и грузди,
крутобокие дыни,
размякшие сливы!
Пиво в кружках тяжелых
и пиво
навынос...

...А вокзал,
как пальто для мальчишки, —
на вырост!

Так и кажется:
он из грядущего года,
из грядущего года,
не от этого
города..

Отправление.
Под самые тучи запущен
паровозный гудок.
И, рванувшись на запад,
остаются в прошлом,
остаются
в будущем
города,
начинающиеся с вокзалов...

«Я жизнь люблю безбожно...»

Я жизнь люблю безбожно!
Хоть знаю наперед,
что —
рано или поздно —

настанет мой черед.
Я упаду на камни
и, уходя во тьму,
усталыми руками
землю обниму...

Хочу,
чтоб не поверили,
узнав,
друзья мои.
Хочу,
чтоб на мгновение
охрипли соловьи!
Чтобы,
впадая в ярость,
весна по свету шла...

Хочу, чтоб ты
смеялась!
И счастлива была.

Реки идут к океану

Реки Сибири,
как всякие реки,
начинаются
ручейками.
Начинаются весело,
скользкие камни
раскалывая, как орехи...
Шальные,
покрытые пеной сивой, —
реки
ведут разговор...

Но вот наливаются
синей силой
тугие мускулы волн!
Реки —
еще в становленье,
в начале,
но гнева их страшится тайга, —

они на глазах взрослеют,
плечами
расталкивая берега.

Они вырастают из берегов,
как дети

из старых рубаш...

В песок не уйдя,
в горах не пропав,
несут отражение облаков...

Смотрите:
им снова

малы глубины!

Они нараспев текут.

Они уже запросто

крутят турбины.

Плоты на себе волокут!

Ворчат

и закатом любуются медным,
а по ночам

замирают в дреме...

Становятся

с каждым пройденным метром
старее и умудренней.

Хотя еще могут,
взорвавшись мгновенно
и потемнев,

потом

тряхнуть стариною!

Вздуться,

как вены,

перетянутые жгутом!

Но это —

минутная вспышка...

А после,

освободясь от невидимых пут,
они застывают

в спокойной позе

и продолжают путь.

То длинной равниной,

то лесом редким, —

уравновешенные и достойные, —

реки — легенды,

реки — истории,

красавицы и кормилицы —

реки.

И солнце восходит.

И вянут туманы...

Свое отслужив,
отзвенев,
отказав,
реки
 подкатываются к океану,
как слезы к глазам.

Крик родившихся завтра

Все казалось обычным.
Простым...
 Но внезапно,
зовя и звеня,
крик
 родившихся завтра,
родившихся завтра,
ворвался в меня!
Слышу я:
 по Земле,
 качаясь, как в зыбке,
не боясь ни черта,
краснощеко и весело
 горланят язычники —
нам
не чета!
Я их вижу —
 мне время тех дней не застит,
не прячет во мгле.
Я их вижу:
 широких,
 красивых,
 глазастых
на мудрой Земле!..
Я их вижу,
 порою таких же усталых,
как в мои времена.
Но они
 даже звездам поклоняться не станут
(а не то что чинам!)...
Крик
 родившихся завтра,
 как сигнал на поверку,
сердцем ловлю...

Кройте!
Кройте,
 родные мои Человеки.

Я вас очень люблю.
Матерям не давайте покоя!
Кричите!
Кричите!
Все простится потом...
Я вас так люблю,
как любят мальчишки
босиком
бродить под дождем!
Я вас так люблю,
как влюбленные любят
сумрак лесов...
Я вас так понимаю,
как усталые люди
понимают сон...
Я мечтаю о вас.
Ожидаю вас жадно
ночи
и дни.
Крик
родившихся завтра,
родившихся завтра,
поскорей зазвени!

Телеграммы

Неужели ты такая же, как эта?..
За окном звенит разбуженное лето.

Нас хозяйка дома
в гости пригласила.
Ничего не скажешь,
да,
она красива.
Да, красива.
Мы об этом ей сказали...
И она глядит глубокими глазами,
чуть раскосыми,
зелеными, сухими.

Муж ее какой-то физик или химик.
И слова ее доносятся как эхо:

«Он сейчас в командировке...
Он уехал...»
Никакой я тайны выдать не рискую —

телеграмму он прислал:
«Люблю.
Тоскую».
И еще одну:
«Тоскую.
Жду ответа».
Неужели ты такая же, как эта?..

Вот сидит она —
красивая, — не спору.
Вот сидит она,
довольная собою.
И смеется,
и меняется мгновенно.
А глаза ее
предельно откровенны!
А глаза ее играют,
завлекая,
обещая,
предлагая,
намекая...

Никогда ханжой я не был, —
слышишь — не был!
Но сейчас поверю я
в любую небыль —
в наговоры,
в сплетни,
в выдумку любую.

Телеграмму я послал:
«Люблю.
Тоскую».
И еще одну:
«Тоскую.
Жду ответа».
Неужели ты такая же, как эта?..

Мы молчим и курим.
Тихо тянем пиво.
А хозяйка говорит:
«Совсем забыла!
Я сейчас...»

И щеки тушит
о ладони.
И подходит к телефону в коридоре.
Называет адрес
длинный, очень странный,

говорит:
«Прошу,
примите телеграмму...»

И с усмешкой, торопливо и привычно
говорит:
«Любимый!
Все идет отлично.
Не скучай.
Твоя.
Целую.
Жду ответа».

...Неужели ты
такая же,
как эта?!

Песня Индии

Пела женщина,
глаза полузакрыв.
Пела женщина на странном языке...
И звучало слово каждое
как взрыв,
повторяющийся эхом вдалеке...
Эта песня иссушала,
песня жгла,
непонятными путями
к сердцу шла,
нервной дрожью шла по спинам и бокам,
наполняла зал граненый, как бокал.
Зал сжимался,
тихой песней оглушен...

...Будто тот,
кому поет она,
ушел.
Не простился,
не сказал куда —
ушел.

Не сказал, когда вернется он, —
ушел.
Заплутался на шести материках,
и они не могут встретиться никак...

Может, так,

а может, все наоборот...
Звезды дальние пылают, как костры.
Продолжается Земли круговорот...
И я чувствую:
 сюда,
 через миры,
по Вселенной,
по всему,
наверняка
с колыбели породнившись с высотой,
очень радостный
 и очень молодой,
человек идет за песней
сквозь века!
Он идет сейчас по Млечному Пути,
греет руки над мерцающим огнем...
Он
обязан
 эту женщину найти,
потому что песня женщины —
о нем.
Слышите,
 она зовет:
приди!
Голосом своим зовет:
приди!
Силою любви зовет:
приди!
Песнею своей зовет:
приди!

Солнце

Это навсегда запомни ты
и людям Расскажи...

Солнце
 начинает в комнате
строить этажи.

Солнце продолжает древнюю
тихую игру —
тянет сквозь окно
 из времени
тонкую иглу.
Вот плывет игла,
раздваивается,

шире становясь.
Ветром
 с потолка сдувается
солнечная вязь.
Вот и солнечные зайцы —
эй, посторонись! —
в зеркало,
 как в пруд,
 бросаются
головами вниз.
И, тугим стеклом отброшенные,
вмиг осатанев,
скачут
 легкими горошинами
по крутой стене.
Вся стена —
 в неровных линиях,
в крапинках стена...
Солнце
 яростными ливнями
хлещет из окна!
Не лучи уже,
 а ворохи
нитей
пламенных и сочных...

Съели солнечные волки
зайцев солнечных.

Снег

Этой ночью
 первый снег летел в окно.
Этим утром
 снег идти не перестал...
Так идет он,
будто кто-то озорно,

как бутылку,
все окрестности взболтал.
И не знает снег,
 куда лететь ему,
где найти ему
 местечко для жилья.
И забыл он, где земля,
зачем земля,
почему трава и зелень почему.

То идет он сверху вниз,
то снизу вверх —
озабоченный,
растерянный,
чудной...
Я прекрасно понимаю
первый снег,
потому что так же было и со мной.
Время встало.
А потом пошло назад!
Все часы на свете
канули во тьму.
И забыл я, что сказать.
Зачем сказать.
Почему смеяться,
плакать почему.
Шла за осенью
весна,
потом —
зима.
Позабыл я все слова,
все имена.
Позабыл я даже то,
как ты нужна, —
ты об этом мне напомнила
сама.
Очень гордая,
сама пришла ко мне,
равнодушие обидное стерпя.

На твоих ресницах
тает первый снег...
Что б я делал,
если б не было тебя?!

Слышишь?!

А. К.

Чайку! бы!
Покрепче б!
С малиной!
Какие некстати мечты...
Занозистый звон комариный.
Корявые сосны...

А ты

далеко.
Как детство,
 далеко.
Далеко,
 как эта река
с названием-всплеском: Олекма —
сейчас от тебя далека...

Вхожу я под посвисты ветра,
как в воду, в дорожный азарт.
Я понял разлуку,
и это
не так мудрено
 доказать.
Могу я плечом отодвинуть
от сердца глухую печаль.
И даже без писем —
 привыкнуть.
И даже без крова —
 смолчать...

Я видел и землю и небо,
умею ответить врагу,
могу
 без воды и без хлеба,
но без одного
не могу!
Пускай это слишком жестоко,
пускай я тебя огорчу, —
прости меня!
Слышишь?!

 Но только
в дороге я верить хочу,
что где-то на глобусе этом,

летящем,
как мир,
молодом,
озябшем,
продутым,
прогретом,
то темном,
а то золотом, —
ты голову дымом дурманишь,
не знаешь ни ночи,
 ни дня
и плачешь,
 и руки ломаешь,
и ждешь,
 как спасенья,

еще я столько
 людям
не сказал,
что мне с тобой
 не время
 говорить!
И надо
каждым часом
 дорожить,
мечту любую
выверив
трудом...
Решил я
 жить,
покуда буду
жить!
А смерть
решил оставить
на потом!

Стихи о моем имени

Ояру Ваццетису

Мне говорят:
«Послушайте,
 упрямиться чего вам?
Пришла пора исправить ошибки отцов.
Перемените имя.

Станьте
 Родионом.
Или же Романом, в конце концов...»
Мне это повторяют...

А у меня на родине
в начале тридцатых
 в круговерти дней
партийные родители
называли Робертами
спеленутых,
 розовых,
 орущих парней...
Кулацкие обрезы ухали страшно.
Кружилась над Алтаем рыжая листва...
Мне шепчут:
«Имя Роберт

пахнет иностранщиной...»
А я усмехаюсь на эти слова.

Припомнитесь, тридцатые!
Вернись, тугое эхо!
Над миром неустроенным громыхни опять.
Я скажу о Роберте,
 о Роберте Эйхе!
В честь его
стоило детей называть!

Я скажу об Эйхе.
Я верю:
 мне знаком он —
большой,
 неторопливый, как река Иртыш...
Приезжал в Косиху
 секретарь крайкома.
Веселый человечиче.
Могучий латыш.
Он приезжал в морозы,
 по-сибирски лютые,
своей несокрушимостью
недругов разя.
Не пахло иностранщиной!
Пахло
Революцией!
И были у Революции
 ясные глаза...
А годы над страной летели громадно.

На почерневших реках
 дождь проступал,
 как сыпь...

Товарищ Революция!
Неужто ты обманута?!
Товарищ Революция,
где же твой сын?
В какую мглу запрятан?
Каким исхлестан ветром?
Железный человечиче.
Солдат Октября.
Какими
 подлецами
растоптан,
оклеветан?..
Неужто,
Революция,
жизнь его —

зря?!

От боли,

от обиды

напрягутся мышцы.

Но он и тогда не дрогнет,

все муки стерпя.

В своем последнем крике,

в последней самой мысли,

товарищ Революция,

он верил в тебя!..

Да будет ложь

бессильной.

Да будет полной

правда...

Ты слышишь, Революция,

знамен багровых

плеск?

Во имя Революции —

торжественно и прямо —

навстречу письмам

Эйхе

встает партийный съезд!

Рокочет «Интернационал»

весомо и надежно.

И вот,

проклиная жестокое вранье,

поет Роберт Эйхе —

мой незабвенный тезка!..

Спасибо вам, родители,

за имя мое...

Наверно, где-то ждет меня

мой последний

день.

Кипят снега над степью.

Зубасто встали надолбы...

Несем мы имена

удивительных людей.

Не уронить бы!

Не запятнать бы!

Вступающим в жизнь

Так и мы входили.

Все правильно.

Состояние,

как в бою.
Силы хватит.
Крылья расправлены.
Начинайте
песню свою!

Судьи с тонкими шеями,
судьи
с петушиными голосами,
только начаты
ваши судьбы,
чуть намечены
ваши судьбы.

Вот вам жизнь.
Разбирайтесь сами.
Нате!
Стройте и протестуйте!
О своем
твердите упрямо.
Нате —
мучайтесь!
Нате —
думайте,
в чем вы правы,
а в чем — не правы.
Вот она, безграничная, —
нате!

Этой жизнью
себя наполните.
Все, что мы позабыли, —
вспомните!
Все, что мы не узнали, —
узнайте!
Только сразу не обессудьте,
не ругайте слишком поспешно, —
если вы упадете,
судьи, —
мы подыдем вас
твердо и бережно...
Мир дрожит от весеннего грохота.
Вас заботы наши
смешат.

Это — много,
но это и крохотно —
сделать первый
собственный шаг.
Ведь пока для себя вы распутаете

все, что создано было не вами,
вы еще очень долго будете
говорить не своими словами.
Разбираться в цитатах выпренных,
горевать
от случайных бед,
сомневаться
в известных истинах
и выдумывать
велосипед.

«Наверное, будут глохнуть историки...»

Наверное, будут глохнуть историки,
копаясь в тоннах
нашей риторики...
Но —
сквозь любую наносную муть,
которая сверху лежит, —
они должны понять
(и поймут!),
как мы любили
жить!
Жить!
Ладонями землю трогать.

Жить!
Детей качать на руках.
Жить!
и чувствовать друга локоть.
Жить!
И видеть лицо
врага.

«Мы судьбою не заласканы...»

Мы судьбою не заласканы.
Но когда придет гроза,
мы возьмем судьбу за лацканы
И посмотрим ей в глаза.
Скажем:
«Загребели выстрелы.
В дом родной
вошла беда...
Надо драться?»

Надо выстоять?»
И судьба ответит:
«Да».
Скажем:
«Что ж.
Идти готовы мы...
Но скажи ты нам тогда:
наши жены станут вдовами?!»
И судьба ответит:
«Да».
Спросим:
«Будет знамя красное
над землей
алеть всегда?
Наши дети
будут счастливы?»
И судьба ответит:
«Да».
.....
И мы пойдем!

Друг

Мы цапаемся жестко,
Мы яростно молчим.
Порою —
из пижонства,

порою —
без причин.
На клятвы в дружбе крупные
глядим, как на чуму.
Завидуем друг другу мы,
не знаю почему...
Взираем незнакомо
с придуманных высот,
считая,
что другому
отчаянно везет.
Ошибок не прощаем,
себя во всем виним.
Звонить не обещаем.
И все ж таки звоним!

Бывает:
в полдень хрупкий
мне злость моя нужна.

Я поднимаю трубку:
«Ты дома,
 старина?...»
Он отвечает:
«Дома...
Спасибо – рад бы...
Но...»
И продолжает томно,
и вяло,
и темно:
«Дела...
 Прости...
 Жму руку...»
А я молчу, взбешен.
Потом швыряю трубку
и говорю:
«Пижон!!»

Но будоражит в полночь
звонок из темноты...
А я обиду помню.
Я спрашиваю:
«Ты?»
И отвечаю вяло.
Уныло.
Свысока.

И тут же оловянно
бубню ему:
«Пока...»
Так мы живем и можем,
ругаемся зазря.
И лоб в раздумьях морщим,
тоскуя и остря.
Пусть это все мальчишеством
иные назовут.

Листы бумаги
чистыми
четвертый день живут, —
боюсь я слов истертых,
как в булочной ножи...
Я знаю:
он прочтет их
и не простит мне
 лжи!

Костер

Умирал костер, как человек...
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал,
 вытягивая вверх
кисти желтых и прозрачных рук.
Вздрагивал,
 по струйке дыма
 лез,
будто унести хотел с собой
этот душный,
 неподвижный лес,
от осин желтеющих
 рябой,
птиц
 неразличимые слова,
пухлого тумана
 длинный хвост,
и траву,
 и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.

Счастье

Чего грустишь,
 красавица?
Зачем глаза заплаканные?
Смотри, как парни зарятся
на губы твои ласковые.
Твоим красивым платьям
завидуют подруги...
Зачем тогда ты плачешь
и опускаешь
 руки?

Домой идешь ты медленно.
Там печка дышит жарко.
Там жизнь течет размеренно,
ни шатко
 и ни валко.
Домой,
 где пахнет тестом
из темно-красных крынок

и где подушкам
 тесно
на дедовских перинах.
Где много всякой всячины,
где вгрызлись в сундуки
старинные,
 висячие,
пудовые замки.
Любительские снимки
приклеены к стене.
Стоят жбаны брусники
на низеньком окне.
Сверчок за печкою поет,
в сарае куры квохчут...

Чего
тебе недостает?
Чего еще
 ты хочешь?
Не над тобой ли,
 девушка,
мать причитает глухо:
«Расти, моя Надеждочка!
Расти, моя голубка.

Расти —
твои родители
подыщут скоро
 зятя,
простого,
обходительного,
умного в хозяйстве...
Расти, моя красивая, —
ни пуха ни пера...»

Но за горами синими
есть речка
Ангара...
«Для Наденьки-невестыньки
в шкафу лежит приданое...»

Но за горами дальними
живут твои ровесники.
Они ведут машины
сквозь ночь
 и сквозь тайгу.
Они едят не жирно
и спят порой в снегу.
В лицо им хлещут ливни,

кусты
одежду рвут...
Но все равно
счастливее
тебя
они живут!
Но все равно
их песни
повеселей твоих!
И много интереснее
твоей
судьба у них!
Они
не могут сдаться
тайге и мошкаре.
Они
построят станцию
на речке Ангаре!..
Под головами —
ватники.
Мигает лампа сонно...

...Быть на деревне
свадебке!
Скрипеть
столам тесовым!..
И ты проходишь по двору
и молча входишь в сени —
в свой дом,
который всеми
зовется
чашей полною.
С глазами входишь мокрыми
домой,
где каждый вечер
орут коты под окнами
совсем по-человечьи.

О личном

Щуря глазки-щелочки
на незнакомых
Вась,
шерочка
с машерочкой
танцевали вальс.
Танцевали сдержанно —

туфли берегли...

В перерыве к девушкам
парни подошли.

Слышу я,

как девочки

твердят одно.

Говорят

девочки:

«Снимаемся в кино...

Работа непростая,

но верим

в нее...»

А я ведь их

знаю.

Это все —

вранье.

Ведь завтра этим девочкам

не танцевать.

Завтра этим девочкам

рано вставать.

Вяло разговаривая,

сойти

с крыльца.

На седьмом трамвае

доехать до кольца.

Не острить с мальчиками,

а мимо идти

и работать

смазчицами

с восьми

до пяти...

Девочки стыдятся

работы своей.

Стыдятся —

боятся

потерять парней.

Поэтому так долго

врут

про житье.

И совсем недорого

берут за вранье.

Выдумывают деньги,

себя горяча.

Папу —

академика.

Маму —

врача.
Очень увлеченно
говорят,
галдят...

Что они?
О чем они?
Чего
хотят?..

Собою
гордиться.
Личное
найти.
Своего,
единственного
встретить в пути.

У него,
у сильного,
обмякнуть в руках.
Хочется красивого
встретить...
А как?
Пусть даже неприметного! —
Лишь бы
своего...

Ну, и что из этого?
Да так...
Ничего.

Быть человеком!

Встать рано утром.
Чуть попозже солнца.
Когда оно за дымкою неплотной.
Когда песок на берегу не жжется.
Когда еще он влажный и холодный...
Встать рано утром.
Чтобы каждым нервом
почувать свежесть
утреннего счастья.
Чтоб сердце было —
настежь!
Окна —
настежь!

Пусть окна,
занавешенные небом, —
одним лишь небом, —
тихим и бездонным,
одним лишь небом! —
до предела светлым —
не закрываются...

Уйти из дома.
Бежать к реке
и улыбнуться ветру.
И этим ветром радостным умыться...

Чтоб рядом чувствовать
дыханье
друга,
чтобы под мягкой кожей

упруго
узлами
перекатывались мышцы.
Вода плескалась глухо.
Губы сохли.
Стучало сердце гулко и знакомо...

Завидуйте,
изнеженные рохли!
Вам
никогда не испытать такого!..

А вот по сторонам мелькают маки.
Тобой дорога
как угодно вертит.

Темнеют,
на глазах темнеют майки.
Мир полон пенья птиц.
И солнце светит!..
Ты успеваешь вглядываться зорко
в мельканье леса
и разливы луга.
А линия сплошного горизонта
натянута,
как тетива у лука!

Так здравствуй,
скорость!
Вечно здравствуй,
скорость!
Будь счастлив,

человек, тебя узнавший!
Движения
 возвышенная гордость,
испытывай
сердца и души наши!
Чтобы травинки
 под ноги бросались,
чтобы дорога
 длинно распласталась,
чтобы вперед стремиться
 всем на зависть
и уставать.
И побеждать усталость!
И снова рваться
зло и вдохновенно,

вдыхать
 настоянный на травах ветер!..

Да,
 если были боги,
то, наверно,
они такими были —
боги эти!
А, что там боги!
Сумрачно и пресно
они скучали
 на своем Олимпе...
А человек
 в сто раз богов счастливей.
Быть человеком
много интересней!
Быть
человеком! —
ощущая силы
великие,
 какими ты наполнен...

Глотками
 пить
 завьюженную зиму,
ее хрустящий и промерзший полдень.
Поспорить с высотой поднебесной.
Застыть над бездной.
Помолчать над бездной.
Сдержать восторг.
Мир
 заново увидеть.
И облако

рукою отодвинуть...
Помедлить чуть
перед последним шагом
и бросить вызов
царству льда и снега...
И, оттолкнувшись
от земного шара,
взлететь,
сквозное обнимая небо!
Земле кричать,
кричать горам и рекам,
над птицей удивленной смеяться!

Навстречу ветру мчаться!
К солнцу мчаться!

Быть
Человеком!
Слышишь —
Че-ло-ве-ком!!
Глядеть на мир
влюбленными глазами
и чувствовать,
что все тебе подвластно...

Прекрасна
жизнь!
Четырежды прекрасна
планета,
на которой ты
хозяин...

Песня

Свет погаснет.
Лысый демон
палочкой взмахнет.
Выйдет на эстраду
тенор —
ручки распахнет.
И, от упоенья млея,
стоя на носках,
станет песнею моею
горло
полоскать.
Мне на муку и на горе
песня задрожит.

Будет песня в медном горле,
будто в клетке,
 жить.

Рваться из него на волю
в зал полупустой,
получаться неживою,
чопорной,
не той...
Тенор будет нежно мямлить,
томно завывать,
будет он играть бровями,
глазки закрывать.

А в конце,
привычный ужас
в дамочек вселя,
тенор выдаст,
 поднатужась,
тоненькое «ля».
И замолкнет деловито...

Под визгливый стон
я тогда на сцену выйду
и скажу:
— Постой!
Ты поешь по всем законам.
Правильно.
И все ж —
эта песня мне знакома —
ты не так поешь!..
Написал я эту песню
ночью
 у костра.
Я хотел, чтоб эта песня
не простой была.
Чтоб она из душных спален
позвала людей.
Чтоб ее
хороший парень,
как рюкзак, надел.
Чтоб до неба,
 как до крыши, —
искоркам взамен, —
голос
 тихий и охрипший
долететь сумел.
И, растаяв в поднебесье,
чтоб зажег зарю...
Мне знакома

эта песня —
честно говорю!..

Впрочем, что я здесь толкую
и о чем кричу?
Я ж не написал
такую. —
Написать хочу.

«На самом дальнем западе» 1964

Нью-Йорк сверху

Он пока еще
 не улей.
Он возник
 из-под крыла,
будто тлеющие угли
небывалого костра.
Вот,
 гляди,
сползает набок!
Вот,
 сейчас помчится
 вскачь!
До восторга одинаков.
И до ужаса горяч!..
Люди вымотаны за день.
Восторгаться
людям лень...
Но предельно осязаем
стал цветастый жар
углей!
Мы,
 влетая в пытку эту,
бережем глаза свои.
Восходящей
 массой света
самолет качнуло
и...
Небо черное в румянце.
Зной
 объятья
 распростер.
Наши волосы дымятся.

Мы
 садимся
 на костер!
Он —
 под нами
 в желтом нимбе.
(Летчик,
 друг,

повремени!)
Все мощней,
все объяснимей,
ослепительней
 огни.
И уже дома подробны.
И понятно,
 что —
 куда.
И видна
аэродрома
ровная сковорода.
Соберите волю,
 йоги!..
Что мне делать?
Я —
 не йог...
Приземляемся в Нью-Йорке!
Надвигается Нью-Йорк!
И назад нельзя
 ни шагу.
Мы
бросаемся в него!..
– Жарко будет?
– Очень жарко.
– Перетерпим.
Ни-че-го!

Танцуют индейцы

Юлиану Паничу

Бум!
Это не костюмированный
 бал.
Бум!
Это грянул
 боевой
 барабан...
Бум!
Он рокочет,
 как размеренный
 пульс.
Вот в него вплетается
звяканье
бус.

В барабанном рокоте

слышится мне:

«Мы когда-то жили

в этой самой

стране.

Мы сейчас шагаем

по отцовским гробам...

Громче,

барабан!

Чаще,

барабан!

Будто бы,

будто бы

все

как тогда, —

наша

земля,

наша

вода!

Наши вигвамы

у Зеленой горы.

За этими деревьями —

наши костры!..

Шли мы на охоту,

как река из берегов.

Только по скальпам

считали мы врагов!

Мы —

люди из племени

Справедливого Орла...

Смейся, бледнолицый.

Твоя взяла!

Смейся, бледнолицый.

Кричи,

воронье...

Это ты

здорово придумал —

ружье.

Это ты

здорово придумал —

спирт.

Кто не убит,

тот как мертвый

спит...

Мы остановились.

Мы глядим,

удивясь:

«Ах, какая шелковая кожа
у вас!
Ах, какие волосы
у ваших жен!..»
А если
по шелковой коже —
ножом?!
А если бы,
а если
посреди тишины
снова позвала бы нас
тропа войны?!
Как бы над росой
свистел томагавк!
Ах, какие скальпы
дымились бы
в руках!
Наши барабаны
выбивали бы
такт...
Не бойтесь!
Не будем.
Это мы...
так...
Это на секунду
нас обожгла
жаркая кровь
Справедливого Орла.
Мы нарежем ленты
из березовой коры...
Смейся, бледнолицый!
Мы —
дикари...
Будем сниться детям твоим
по ночам...
Видишь?
Это пляшет
наша печаль!
Танец наш древнее,
чем отцовский вигвам.
Он,
скорей всего,
не понравится
вам.
Пусть!..
Но заплатите
хотя бы за то,

что мы здесь жили прежде!
А больше —
НИКТО».

Детская игра

Облака плывут,
за сосны задевая.
Дунул ветер.
Океаном запахло.

Дети
длинную игру
затевают
на окраине
чистенького парка.
Игры прежние
теперь забыты начисто.

Опостылели
бандиты и индейцы.
Начинается игра.
Начинается!
Называется:
«Убийство президента...»

Президент
в голубом автомобиле
сам отчаянно
крутит педали.
Просит,
чтоб его не сразу убили.

Просит,
чтоб еще чуть-чуть
подождали.

Чтоб не около скамейки,
а после, —
там, где в зарослях
темные проходы...

А за ним охрана
в джинсах ковбойских

И на поясе у каждого —
КОЛЬТЫ.

Охранение
шествует
СОЛИДНО.

В мягких шляпах,

как ведется на Юге...
Вот пылит на самокате
Жакелина —
долгоногая,
в коротенькой юбке...
Президент красив.
Он скорость повысил.
Он охрану обгоняет бесстрашно.

И тогда-то
из кустов
хлещет выстрел.
А потом еще!
И несколько сразу!..
Президент из машины выползает
и, шатаясь,
ковыляет к скамейке.
Не помогут доктора!
Он
занят.
Бесконечно занят
собственной смертью.
Игры прошлые его закалили.
Подойти к нему жену
попросите...
Почему-то
в глазах у Жакелины
абсолютно настоящие
слезинки.

Солнце пыльное
на части дробится.
Духота вокруг.
А мне сейчас морозно!..
Я смотрю:
охрана
ищет
убийцу.
Не вправдашно ищет.
Понарошку...
На аллеях беготня,
трещат залпы.
За моей спиной
слегка дрожит ветка...

А во что они
начнут играть
завтра, —
дети

громыхающего
века?

Памяти Хемингуэя

Уходят,
 уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув,
Без проклятий уходят.
Без криков.
Леденя.
Навсегда затихая.
Их проклинали
 лживо,
хвалили
лживо.
Их возносили.
От них отвыкали...
Могикане
удивлялись и жили.
Усмехались и жили могикане.
Они говорили странно,
поступали странно.
Нелепо.
 Неумно.
 Неясно...
И ушли,
не испытав
 страха.
Так и не научившись
бояться.
Ушли.
Оставили
 ветер весенний.
Деревья,
посаженные своими руками.
Ушли.
Оставили
 огромную землю,
которой очень нужны
могикане.

День благодарения

Каждый последний четверг ноября американцы празднуют День благодарения. Это праздник в честь первых поселенцев, появившихся на Американском континенте.

Слишком солнечный четверг
праздником оказывается!

Вспомним песни прошлые.

Вспомним танцы древние...

Слышишь,

как колокола

широко

раскачиваются?

День благодарения!

День благодарения!..

По улицам,

дразня, плывут особенные запахи.

И даже в утлые углы

залезть они решаются.

На самом Ближнем Западе,

на самом Дальнем Западе,

стреляя салом в поваров,

сейчас индейки жарятся!

Скоро на столах задышат

заварные пудинги.

Скоро хрустнут на зубах

коричневые корочки.

На усталых животах

расстегнутся пуговицы.

Станет жарко в городе!

Станет пьяно в городе!

День благодарения!

Блестят глазенки

у детей.

День благодарения!..

И сразу же добрею я:

ведь для меня

давным-давно

каждый день,

любой день —

День благодарения!

День благодарения!..

Я благодарю село

по имени Косиха,

благодарю за доброту,
за ощущение истины.
Суматошным друзьям
я говорю:
«Спасибо!»

И низко кланяюсь земле.
Моей земле.
Единственной.
Я на ней
узнал
мир.
Я на ней
от вьюг
слеп.
Обошел я на ней
все леса и просеки.
Ел я каменный хлеб.
Черный хлеб.
Трудный хлеб.
И его благодарю
до последней крошечки!

Я благодарю судьбу
с ее прямыми сроками
за то,
что было солнечно.
За то,
что было ветрено.
На колени становлюсь.

Ладонью
землю трогаю.
Говорю своей земле:
«Будь во мне уверена».
Как звонят колокола!
Вблизи
и в отдалении.
Как звонят колокола!
А может, это кажется?..
Над моею головой
солнце
раскачивается.
День идет.
Жизнь идет.
Жизнь благодарения.

Город ангелов

А. Сахнину

Начинается город ангелов,
город ангелов —
Голливуд.

Люди в панике,
люди ахают:
«Вот где эти кумиры живут!...»
Кинозвездочки,
кинозвездашечки,
кинодвигатели эпох.

Полисмен
улыбается старчески —
даже он в Голливуде
не бог.
Даже солнце
стыдливо катится...
Кинозвезды
царствуют тут!
Так они длинноноги,
что кажется —
ноги
прямо от шеи растут.
Кинозвезды туги, как пружины.
Кинозвезды спешат на корт.

Кинозвезды меняют машины
и любовников
каждый год.

А еще —
избегают мяса,
берегут фигуру свою.
А еще
обожают сниматься,
а еще —
давать интервью.

Подойдет кинозвездочка,
глянет,
улыбнется вовсю,
а потом
репортеру
такое ляпнет,

что в конвульсиях репортер!..
Но зачем быть умным,
в сущности,
им —
берущим у жизни свое?..

Киноленты на студиях сушатся.
Киноленты шуршат,
как белье.

А потом
 континенты млеют
от волнения
на тысячи верст!
И девчонки
 в постельной лени
вспоминают повадки «звезд».
И солдаты
 несут у сердца
на оскал
орудийных дул
королев
 стриптиза и секса,
абсолютно божественных дур!..

К нам на землю
 слухи просачиваются —
сам,
 за что купил, —
продаю:

голливудские
кинокрасавчики
стали ангелами в раю.
Бог печется об их здоровье.
Бог волнуется —
как живут?
Там, на небе,
для них построен
теплый,
ангельский Голливуд.
Там они
основали фирмы.

По свидетельству церкви,
там
киноангелы
ставят фильмы
и показывают
чертям!

В клубе миллионеров

Или обманули,
или адрес неточен.
Тихая идиллия
почти семейных
пар.

Может, это папы
развлекают дочек?
Но отчего
лоснятся глазки
у пап?
Может, это дяди
вывезли племянниц?
(Тоже, посочувствуете,
нелегкий труд...)
Но отчего
у дяденек
на лысинах румянец,
когда они за локотки
племянниц берут?

Им сегодня весело,
весело,
весело!

Дочки и племянницы
взвизгивают тайком.
Надо только выбрать
королеву вечера —
самое главное
на празднике таком.
Выбрать королеву!
Все великолепно...

Старичка у двери
бросило в жар!
Входят
кандидатки
на должность королевы —
в бикинчиках
под музыку
входят в зал.
Они себя
каждому

подносят, как подарок.
Идут между столиками,
показывая загар.
Идут через сопение.
Идут через подагры,
через пепел,
падающий
с дрожащих сигар.
Девчонки
по залу
проходят, не торопятся.
Заняты,
как кроссворды.
Как струночки,
прямые.
Покачивают бедрами.
На эстраде
строятся.
«Смотрите,
выбирайте.
Вот какие мы!»

Которая?
Которая
королева вечера?
Самая-рассамая!
Чтоб лучше
нельзя.
Выбрали!
Вот она —
короной увенчана.
Выверена,
вымерена,
выхолена вся!
Королева вечера,
вечерняя дева.
У нее прическа
как буддийский храм.
Белое тело,
роскошное тело.
Почем
берешь
за килограмм?

Воскресный выпуск

Куплю газетку.
Узнаю, кстати,
кого ухлопали нынче ночью.

Они в киосках —
будто на старте,
три килограмма
 дразнящей нови.
Три килограмма
 шрифтов и краски.
Три килограмма
 вчерашней страсти.
Дают навынос.
Берут на выброс...
Куплю газетку.
Воскресный выпуск.

На всю страницу
 цветное фото.
Смотрите, люди!
Платите деньги.
«Скандал в Детройте!»
«Прием у Форда!»
«Пресс-конференция
 президента!..»

Покажут перья свое искусство.
Огня прибавят.
Гнильцу подпудрят...
И если даже не будет вкусно,
то горячо
непременно будет!
Идете мимо?
Остановитесь!
Смешна потеря в бюджете вашем.
Воскресный выпуск!
 Воскресный выпуск!

Три килограмма
 замочных скважин!
Такого
даром
нельзя добиться.
В домах, наверно,
 прозрачны стены...
Смотри, народ,

на своих любимцев!
Вот их концерты.
Вот их постели.
Вот их пижамы.
Вот их сортиры.
Вот —
 развлеченья,
а вот —
 привычки...
«Ушел любовник
от кинодивы!»
«Племянник шаха
 сбежал с певичкой!..»
Любые тайны
 газета выдаст.
Намеков —
 масса.
Картинок —
 бездна...
Воскресный выпуск,
воскресный выпуск —
три килограмма
 сплошного перца.
Три килограмма
 пикантной клюквы.
От факта к факту.

От даты к дате.
Не сомневайтесь!
Откройте клювы.
Мы разжевали.
А вы
 глотайте!

Сон

Спать!..
Свет выключил.

Закрыв глаза.
Рокошет город за окном.
И крутится калейдоскоп
всего,
 что я увидел днем.

Девчонка в красном парике.
Машина.

Нет числа мостам...
А этот говорил:
«Москва...
 Я знаю...
 Я родился там...»
А тот все повторял:
 «Вот-вот!»
Загублена
 такая жизнь».
Опять —
машина и мосты...
«Что пьете?
Виски или джин?..»

Уснуть.
 Немедленно уснуть!
На клетки память раздробить.
Уйти от прожитого
дня.
Для завтрашнего
 сил добыть!..

Я засыпаю.
Я молчу.
И шар земной звеняще пуст.
И вновь передо мной лежит
до мелочей знакомый путь.

Скорей туда!
 Скорей, скорей!
Вобрать
домашнее тепло.
Опять мы встретимся с тобой,
всем пограничникам назло.
Радары крутятся в ночи.
Рычат ищейки в темноту.
А я смеюсь.
А я иду.
Никем не узанный —
иду...

Снежинки
 тают на руке.
Как странно и просторно мне!
Шагаю через океан —
какой он маленький во сне!
Едва заметны с высоты
хитросплетения границ...
Я к дому подойду.
И ты

почувствуй
и сама проснись!
Колючим деревцем
 вернись,
глазастой девочкой
 вернись.
(Ты помнишь,
 как мы жили там —
подвал
и пять ступенек вниз?)
Огромность торопливых слов.
Величие негромких фраз.
Пусть будет все,
как в первый день.
Пусть будет все,
как в первый раз.
А если нет,
 а если нет,
то пусть упрёки,
пусть хула —
я все перетерпеть смогу,
но только чтобы ты
была!

Была в моих руках
 и снах.

Чего же медлишь ты?
Настань!
Ты видишь —
 я пришел.

Я жду.
Прошу тебя:
 не опоздай!..

Уснуть бы...

Оттуда

На том
 материке
твоя звезда горит.
На том
 материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь

по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши...
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)

Ты,
 как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
 как ладонь,
понятна,
 как букварь...
Но так уж суждено:
и раз,
 и два подряд
взглянула ты,
и взгляд, —
как белое
 пятно!..

Ты
 тоже
 материк!
Разбуженная глубь...
Я вечный твой
 должник.
Я вечный твой
Колумб.
Мне
 вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова
 отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
 в даль,
вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья
 разомлеть.
И вновь открыть

тебя!
Открыть,
 как умереть.
Блуждать
 без сна и компаса
в краях
твоей земли...

И никогда
 не кончатся
открытия мои.

Кафе «Фламенго»

Кафе называлось, как странная птица, —
 «Фламенго».

Оно не хвалилось огнями,
оно не шумело.
Курило кафе
и холодную воду
 глотало...

Была в нем гитара.
Ах, какая была в нем гитара!
Взъерошенный парень
 сидел на малюсенькой сцене.
Он был непричесан, как лес,
неуютен, как цепи.
Но в гуле гитары
 серебряно
 слышались трубы, —
с таким торжеством
он швырял свои пальцы
на струны!
Глаза закрывал
 и покачивался полузабыто...

В гитаре была то ночная дорога,
то битва,
то злая веселость,
а то
 колыбельная песня.
Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье,
то шелест волны,
то орлиный
 рассерженный клекот,

зубов холодок
и дрожание плеч
оголенных.

Задумчивый свет
и начало
тяжелого ритма...

Гитара
смеялась!
Гитара со мной
говорила.

Четыре оркестра
она бы смогла переспорить.

Кафе называлось,
как чья-то старинная повесть, —
«Фламенго».
Дымило кафе
и в пространстве витало...

А парень
окончил играть
и погладил гитару.

Уже незнакомый,
уже от всего
отрешенный, —
от столика к столику
с мелкой тарелкой
пошел он.
Он шел,
как идут по стеклу, —
осторожно и смутно.

И звякали деньги.
И он улыбался чему-то.
И, всех обойдя,
к закопченной стене притулился...

Я помню,
я помню все время
того гитариста!
Я чувствую собственной кожей,
как медленно-медленно
в прокуренном напрочь кафе
под названием «Фламенго»
на маленькой сцене
я сам коченею от боли.
Негромко
читаю
стихи,

улыбаюсь.
А после
шагаю один
 посредине растерянной ночи.
От столика к столику.
Так вот.
С тарелочкой.
Молча.

Бензиновая колонка

Бензиновая колонка,
бензиновая река.
Бензиновая коровка,
продай
молочка!
Ты пестренькая,
 ты добрая,
тихая, как обелиск.

Жуй
 законные доллары
и бензинчиком поделись.
Смотри,
 какие блистательные,
со всех четырех сторон
фыркающие создания
спешат к тебе
 на поклон!
Они по-своему шепчутся,
боднуть норовят людей...
А может быть, ты —
 волшебница,
бензиновый чародей!

Так окажи нам
 милость:
можешь ты сделать,
чтоб
за тем поворотом вырос
километровый столб?
И, как снегопад,
 обрушились
знакомые города,
и чтоб мрачноватый орудовец
сказал:
«На Москву —

сюда».
Пусть он к нам придерется!
Пусть отберет права!
Но пусть
упадут под колеса
твои асфальты,
Москва!
И небо
дрожащей грозой
пусть будет опалено.

Служитель в комбинезоне
«Ноу, —
говорит, —
ноу».
Ладно!
Тогда потерпим.
Ладно!
Тогда пока...

Спасибо за обхождение,
бензиновая река!
Нас ожидает
сонный
чопорный Вашингтон.
И небольшое посольство —
здешний родимый дом.
Нас ожидают ребята,
презирающие нытье.
Нас ожидает работа —
мы выбрали сами ее.
Но тосковать о детях
вряд ли нам
надоест...

Служитель
считает деньги,
«Йес, —
говорит, —
йес!»

«Радиус действия» 1965

Радиус действия

Мне все труднее
 пишется.
Мне все сложнее
 видится.
Мгновеньями летят года, —
хоть смейся,
хоть реви...
И я из дома убежал,
 чтоб наконец-то вырваться
из радиуса действия
обыденной любви.
Я был самонадеян.
 Сел в самолет.
 Обрадовался.
От молчаливой женщины
решительно уехал.
Но все равно остался
 в знакомом очень
радиусе.
Слова ее,
глаза ее
во мне звучали
 эхом.
Невероятный радиус!
Как от него
 избавиться?
Непостижимый радиус!
Нет никакого сладу.
И я на этом радиусе —
 как на булавке
 бабочка...
И больно мне,
и весело,

и тяжело,
и сладко...

О, радиусы действия!
 Радиусы действия!
Они — во мне,
они — в любом,

и никакой
 межи!
Есть радиусы действия
 у гнева и у дерзости.
Есть радиусы действия
 у правды и у лжи.
Есть радиусы действия
 у подлости и злобы —
глухие,
затаенные,
сулящие беду...
Есть радиусы действия
 единственного слова.
А я всю жизнь ищу его.
И, может быть,
 найду.
А может,
мне
 не суждено...

Летят неразделенные
года!
Но, вопреки всему,
я счастлив
 оттого,
что есть на свете женщина,
судьбой приговоренная
жить
 в радиусе действия
сердца моего!..

Дом

Дом мой
 стоит посреди дорог.
Как же его проветрить?..
Товарищи
 переступают порог

и мне все равно
не верят.
Не передашь
 никаким врачам,
как лампы дрожат
 погасшие.
Как появляется по ночам
прошлое.

Прошагавшее...
Проснись,
 прислушайся.
Вот —
 опять!
На пол
 тетradка сброшена.
Ступеньки лестницы
 зяbко скрипят, —
бродит по дому
прошлое...

Поймите,
 я дом этот знаю весь!
Знаю его до косточки.
Я в нем переставил
 каждую вещь,
перелистал до корки.
Всю рухлядь из дома выжег огнем
(старье горело
 прекрасно!).
Я перекрасил
 все стены в нем, —
а прошлое
прет сквозь краски!
Как будто со мной
 играет оно, —
то вдруг далеко,
то близко...

Поймите,
 богам
 я не верю давно
и хохочу над призраками!..
Но прошлое бродит!
Его глаза
глядят
 широко и бессонно.

Оно исчезает,
 мне пальцем грозя,
с первым дыханием солнца.
Это дыханье свежо и старо.
Но я каждый раз его
 жду...

Дом мой
 стоит посреди дорог.
Я из него

не уйду!

Третье музыкальное

Третье Музыкальное, —
помнишь ты
 или нет
худого и заикающегося
курсанта
двенадцати лет?
Которому сразу же
 дали
огромный бас-геликон...
Влезал я в него,
 как в удава,
свернувшегося клубком.
Не просто
 мы постигали
науку
часов строевых,
а кроме —
играли гаммы
и ненавидели
 их.
Гаммы
 плыли из комнат
муторно и тяжело...
Но если случалось:
 в город
училище
строем
шло
и нашему взводу
 давались
редкостные права, —

уж как мы тогда старались, —
не передашь в словах!
Это была не работа,
а исполнение мечты!
Ревмя
 ревели тромбоны!
Поддакивали альты.
Кларнеты
 вовсю верещали,
но голос их
сразу пропал,

когда,
прохожих прельщая,
на совесть
забил
барабан!
Все это летело в лето
над строем знаменных пик.
Трубы визжали!
И флейты
впадали в щенячий писк.
Нас в холод и в жар бросало.
Была мостовая

И были в груди у курсантов
не легкие,
а меха.
Не затихая,
дули!
Мелодия нас несла!
Синяя от натуги,
по городу
музыка
шла.
За нами бежали мальчишки,
завистливые и растерянные...
И мы

входили в училище —
гордые беспредельно!
Но старшина Иващенко,
вместо обычных похвал:
«Бездарно было,
товарищи! —
оценку игре
давал. —

Вы только понять сумеите
на данном этапе
одно:
каждому
инструменту
право на жизнь дано.
В каждом из них, —
заметьте! —
живая душа звенит.
Но грохотом
инструмента
ее нельзя заменить».

Нас покидали силы,
мы шли на обед

неприкаянно...

Спасибо тебе,
спасибо,
Третье Музыкальное!

Прорубают Арбат

Прорубают Арбат.
Напрямик.
Через уйму дворов.
Камни
смачно скрипят
на холодных зубах
скреперов.
Пробивают Арбат!
Стонут черные балки стропил.
Стену
сталью дробят,
и над городом кружится пыль.
Пыль.
Кирпичная тьма...
Свет дрожит в одиноком окне...

Как привыкли
дома
к полусну,
к тесноте,
к тишине!
Как привыкли дворы —
романтичные,

будто в кино, —
к голосам детворы,
к пенсионной игре в домино...
Здесь смеются и курят,
рождаются,
любят и пьют...

Но
на собственной шкуре
узнал я
подвальный уют!
Неглубокая

лестница
в наше жилище вела.
Романтичная плесень
над детской кроваткой

цвела...

Прогрызают Арбат!
Обращаются хижины
 в прах.
Только «МАЗы»
 храпят
и буксуют
 на бывших дворах.
Оседает окалина
и вздымается к тучам опять...

Наша участь
такая —
пробивать!
 прогрызать!
 прорубать!

Это —
наша забота,
нелегкие наши дела:
ненавидеть
заборы!
И ставить дома
 из стекла!
На земле,
 на громадине
жить,
с рожденья не ведая страха...

Проклинаю романтику
тьмы,
 подвалов,
 щелей
 и барачных!..

Тяжело и рассерженно
охнув,
рушится навзничь стена...

Не для нашего сердца
полусон,
теснота,
тишина.

История

История!

Пусть я —
 наивный мальчик.
Я верил слишком долго,
слишком искренне,
что ты —
 точнее всяких математик,
бесспорней
самой тривиальной истины...
Но что поделать, —
 мальчики стареют.
Твои ветра
по лицам их секут...
Секунды предъявляют счет столетьям!
Я говорю от имени
секунд...

История —
 прекрасная, как зарево!
История —
 проклятая, как нищенство!
Людей преображающая заново
и отступающая перед низостью.
История —
 прямая и нелепая!
Как часто называлась ты —
 припомни! —
плохой,
когда была
 великолепною!

Хорошей —
хоть была
 постыдно подлой!
Как ты зависела
 от вкусов мелочных.
От суеты.
От тупости души.
Как ты боялась властелинов,
мерящих
тебя на свой
 придуманный аршин!

Тобой клянясь,
народы одурманивали.
Тобою прикрываясь,
земли
 грабили!
Тебя подпудривали.
 И подрумянивали.

И перекрашивали!
И перекраивали!
Ты наполнялась криками истошными
и в великаны
возводила хилых...
История,
гуляющая история!
Послушай,
ты ж не просто
 пыль архивов!
История!..
Сожми сухие пальцы.
Живое сердце людям отвори.
Смотри,
как по-хозяйски просыпаются
бессмертные создатели твои!
Они проглатывают
немудреный завтрак.
Торопятся.
Целуют жен своих.
Они уходят!
И зеленый запах
взволнованно окутывает их.
Им солнце бьет в глаза.
Гудки ауют.
Плывет из труб
 невозмутимый дым...

Ты станешь
самой точною наукою!
Ты станешь.
Ты должна.
Мы
так хотим!

«Кем они были в жизни...»

С. Красаускас

Кем они были в жизни —
 величественные Венеры?
Надменные Афродиты —
 кем в жизни были они?..
Раскачиваясь,
размахиваясь,
колокола звенели.
Над городскими воротами

бессонно горели огни.
Натурщицы приходили
в нетопленные каморки.
Натурщицы приходили —
застенчивы и чисты.
И превращалась одежда
в холодный
ничей комочек.
И в комнате
становилось теплее
от наготы!..
Колокола звенели:
«Все в этом мире тленно!..»
Требовали:
«Не кощунствуй!..
Одумайся!..
Отрекись!..»
Но целую армию красок
художник
гнал в наступленье!
И по холсту,
как по бубну,
грозно стучала
кисть.
Удар!
И рыхлый монашек
оглядывается в смятенье.
Удар!
И врывается паника
в святейшее торжество.
Стекла звенят в соборе...
Удар!
И это смертельно для господина бога
и родственников его...
Колокола звенели.
Сухо мороз пощелкивал.
На башне,
вздыбленной в небо,
стражник седой дрожал...
И хохотал художник!
И раздавал пощечины
ханжам,
живущим напротив,
и всем грядущим
ханжам!
Среди откровенного холода
краски цвели на грунте.
Дул торжественный ветер

в окна,
как в паруса.
На темном холсте,
 как на дереве,
зрели
теплые груди.
Мягко светились бедра.
Посмеивались глаза.
И раздвигалась комната.
И исчезали подрамники.
Величественная Афродита
 в небрежной позе плыла!..

А натурщицам было холодно.
Натурщицы
тихо вздрагивали.
Натурщицы были
 живыми.
И очень хотели
тепла.
Они одевались медленно.
Шли к дверям.
И упорно
в тоненькие накидки
 не попадали плечом,

И долго молились в церкви.
И очень боялись
 бога...

А были
уже бессмертными.
И бог здесь был
 ни при чем.

Стихи о биотоках

1

Пронизаны ими
 земля и воздух.
Они горячее вулканного жженья...
Гудят биотоки
сердца и мозга —
биотоки
 высокого напряженья.

Они обжигают тебя и меня,
дышать не дают.
Раздавили!
Загнали!
Не умолкая
 звонят и звонят
тревожные,
прыгающие сигналы!
«На помощь!
На помощь!!»
Кто их послал?
Что гибнет?
 Любовь?
 Человечество?
 Совесьть?
Что гибнет,
 скажите?!.
С утра допоздна
влетают они в суматоху бессонниц.
Гудят биотоки —
 за молнией молния.
С востока и запада.
С юга и севера...
О, если б умел я,
о, если бы мог я
врагов убивать
биотоками сердца!
О, если бы стало возможно это!..
А впрочем,
куда воспаленному веку —
отбросив
 скорости звука и света —
со скоростью мысли
помочь
человеку!..

2

Наверно,
 ученый меня б опроверг.
Но я,
отвергая мудреные толки,
верю:
если погиб человек,
от него
продолжают идти биотоки.
Они пронзают

толщи глубин.
И где-то у очень дальнего моря
та,
которую он любил, —
вздрагнет
и на часы посмотрит...
Но это —
о нем и о ней.
А про нас?..
Летят биотоки над Обью,
над Волгой.
Деревья вспыхивают,
накренься,
от этой громадины тысячевольтной.
Не спи!
Я хочу так.
Не спи!
Не моги!..
Ведь что-то случилось!
Случилось!
Я знаю...
Понять не могу лишь,
друзья иль враги —
твои, —
я их так отличаю, —
сигналы.
Я их, как свиданье с тобой,
тороплю.
Летят они!
Ты их исправить
не можешь!..

И если значат они:
«Не люблю...» —
ты вздрогнешь.
И на часы помотришь.

«Не ночь...»

М. Озеровой

Не ночь,
а просто
сорок минут сумерек...
К тебе есть
просьба:
бежим от запутанной сутолоки!

Туда —
где простор,
где река
 тяжела и покорна...
Там дремлет
 костер
того
счастливого года...
Мы выйдем из лодки,
ждемся полночного часа.
И угли холодные
вдруг покраснеют
 от счастья!
И вновь мы привыкнем
к росе,
к шорохам чутким...
Пылать
 травинкам!
Гореть
 березовым чуркам!..
А нам —
помолчать.
Погрустить,
 если будет охота...
И снова начать
от костра
 счастливого года!
Всю душу проветрить.
Все тайные мысли
 проверить.
И сердцу поверить.
И теплым коленям поверить...
И праздничным вечером
на главной площади
 города
пусть вспыхнет навечно
костер
 счастливого года!
И пусть он согреет
все руки,
 все клятвы,
 все просьбы...

Поедем скорее!
Поедем,
пока не поздно.

Кино в Улан-Баторе

Скачки на экране!
Скачки!
Скачки!
В клубе Улан-Батора народу полно...
Пожалуйста, не ждите
восточной сказки.
Я расскажу о том,
что было в кино.
А в кино было вот что:
летели по экрану
кони,
распластанные в серой пыли.
И было непонятно,
и было очень странно,
что они
должны еще
касаться земли!
Наверное, сейчас они
копытами бабахнут!
И растают в небе
на несколько дней...
Сзади
старичок причмокивает губами
и стонет в истоме,
глядя на коней!..
Справа —
мальчишка!
Сколько ему?
Сколько?
Десять?
Двенадцать?
Возраст —
ни при чем!
Он что-то мне восторженно
вопит по —
монгольски!
И на поворотах
толкает плечом!..
А кони разворачиваются
под фырканье сочное.
Проносится над степью реактивная медь!..
В зале только цоканье,
цоканье,
цоканье!
И зрители

привстали
с нумерованных мест!
Попробуй-ка
 вот этих
 с седла опрокинь!..

А фильма я не помню
(такой вышел случай).
Ведь, если честно,
 фильм был плохим.
Зрители —
были намного
 лучше!

Кочевники

Ч. Чимиду

У юрты ждут оседланные кони.
Стоит кумыс на низеньком столе...
Я знал давно,
я чувствовал,
 что корни
мои —
вот в этой
 пепельной земле!..
Вскипает чай задумчиво и круто, —
клубящегося пара торжество.
И медленно
 плывет кумыс по кругу.
И люди величаво
 пьют его...
А что им стоит
на ноги подняться,
к высокому порогу подойти.
«Айда!»
И все.
Минут через пятнадцать
они уже не здесь.
Они —
 в пути...
Как жалок и неточен
был учебник!
Как он пугал меня!
Как голосил:
«Кочевники!!»
Да я и сам

[illegible]

Будто это глссера.
Разлохмаченные листья
прицепятся к ботинкам.
Станет улица качаться
в неоновом огне...

А часы на руках
будут тикать.
Тихо тикать.
И отсчитывать время,
предназначенное
мне.

Сауна

Об испытаньях прежних
не вспоминай пока что...
Ты —
в сауне.
Ты – грешник.
И потому —
покайся!
Вживайся оробело
в блаженство и мученье...
Но если это —
пекло,
куда девались черти?..
Жара,
жарынь,
жарища,
не утихая, стелется.
Она теперь
царица!
Она теперь
владелица!
Она погодой вертит.
А здесь,
в горниле сауны,
из флоры —
только веник,
и только я —
из фауны.
И не хватает воздуха.
И дышишь —
как воруешь.
Но тут же надо —
в озеро!..

А сможешь?
А не струсилшь?..
Наверное, сумею.
Конечно же, не струшу.
Сейчас я чуть помедлю
и выбегу
 наружу!
Ведь мы, во всяком случае,
в своем существовании
и кипятками
 варены!
И холодами
 кручены!
Все в жизни повторяется.
И в нас уже
 вколочено:

В холодное!
В горячее!
В горячее!
В холодное!

Винтики

Время
 в символах разобраться!
Люди – винтики.
Люди – винтики...
Сам я винтиком был.
 Старался!
Был безропотным.
Еле видимым.
Мне всю жизнь
 за это расплачиваться!
Мне себя, как пружину,
раскручивать!
Верить веку.
И с вами
 раскланиваться,
Люди винтики,
Люди-шурупчики.
Предначертаны
 ваши шляхи,
назначение каждому
выдано.
И не шляпы на вас,
а шляпки.

Шляпки винтиков,
Шляпки
 винтиков!
Вы изнашивайтесь,
вы ржавеете,
исполняйте
 все, что вам задано.
И в свою исключительность
верьте!
Впрочем,
 это не обязательно.
Все равно обломают отчаянных!
Все равно вы должны остаться
там, где ввинтят, —
в примусе,
 в часиках,
в кране,
 в крышке от унитаза.
Установлено так.
Положено.
И —
 не будем на эту тему...
Славься,
винтичная психология!
Царствуй, лозунг:
«Не наше дело!»
Пусть звучит он
 как откровение!
Пусть дороги
 зовут напрасно!..
Я
 не верю, —
хоть жгите, —
 не верю
в бессловесный
винтичный разум!
Я смирению
 не завидую,
но, эпоху
понять пытаюсь, —
я не верю,
 что это винтики
с грозным космосом
побратались.
Что они
 седеют над формулами
и детей пеленают бережно.
Перед чуткими
 микрофонами

говорят с планетою бешеной.
И машины ведут удивительные.
И влюбляются безутешно...
Я не верю,
 что это винтики
на плечах
нашу землю держат!..
Посредине двадцатого века
облетают
ржавые символы...

Будьте счастливы,
 Человеки!
Люди умные.
Люди сильные.

Планета друзей

А вам не услышать,
 как холодно звякают листья.
А вам не увидеть
 дрожания каменных веток...
Я это пишу слишком близко от вас.
Очень близко.
И все ж таки так далеко,
 как с другой планеты.
На этой планете
себе я не доверяю.
Смеюсь над собой, —
 и никак не кончается это.
Я голос теряю.
Я чьи-то пути повторяю.
И вижу:
проходит мимо
 ваша планета!
Она появляется —
чудо мое зоревое,
глаза
 застилает!
Величием дышит безмолвным.
Она проплывает
 в густом голубом ореоле,
прошита солнцем.
Продутая ветром.
Пропахшая морем.
На этой планете,
 на этой планете вашей

гудят поезда,
громыхая бессонно,
 бессвязно.
Тяжелые стрепеты
 пыльными крыльями машут.
У тихих селений
 стоят умудренные вязы...
Я знаю:
на вашей планете проходит лето.
Ночная река
 источает целебный холод.
Проходит лето.
Проходят ссоры.
Беды проходят.

Проходит мимо,
 проходит мимо
 ваша планета.
И я поднимаюсь.
И я подчиняюсь крику.
И в собственном крике,
 тяжелом и темном,
 ВЯЗНУ.

Я должен прыгнуть.
Я прыгну!
Сейчас я прыгну
на эту планету —
земную,
добрую,
вашу.

Мечта

Городок стоит у моря.
Я сюда приехал снова.
В этом городке зимою
одинок-одинок.
Здесь
 работает на почте
(и начальником, и замом)
девушка
с фигурой пони,
с очень летними глазами.
Вся она не здесь,
 а раньше.
Вся – вчера,

а не сегодня...
Там,
 где солнечно и праздно
в городок
влетали «Волги»!
Утвердив
 конец дороги,
дверцы весело стучали.
Чемоданы, как бульдоги,
из багажников
торчали.
Солнце жарило несносно
(в это не поверишь даже)...
Парни,
раздувая ноздри,
величаво
 шли
 по пляжу.
А вокруг —
звенело!
билось!
жгло!
кокетничало!
пело!
Отдыхало,
торопилось
и с волны
 сшибало пену.

Безрассудно!
 Беззаботно!
Невозможно и нелепо...
Парень в голубой ковбойке
говорил:
«Приеду летом...»
Это было так недавно!
Так недавно.
Так неправда.
(Премии вчера не дали.
Вновь —
невыполнение плана...)
Были —
 сомкнутые веки.
Было —
 жаркое «спасибо!»...
...Заглянул купить конверты
продавец из магазина...
Шесть часов.
Конец работе.

Пломбы
 выверены точно.
Вывешен замок на почте.
Завтра —
 так же.
Завтра —
 то же.
Протянулись тени следом...

И идет навстречу лету
девушка
с фигурой пони.
Тихая,
как слово
 «помни».

Памятник солдату Алеше в Пловдиве

Отсюда видно
 далеко-далеко.
Горизонт —
почти невесом.
Как ангел-хранитель
 солдат Алеша
над Пловдивом
вознесен...
Алеша,
явно ошибся скульптор,
его твой облик
 стеснял.
Наверно,
 он знал о тебе слишком скудно,
а может,
 совсем не знал.
Ты выглядишь
 этакой глыбой сонной,
которой нужны слова.
Ты хмурый в камне.
А был ты
 веселым!
И от речей
уставал...
Туман упадет
 легко и белесо
на неподвижный лес...
Сейчас я
 старше тебя,

Алеша,
почти что
на десять лет.
Это я просто родился
позже,
а так —
достаточно смел.
Я многое видел.

Ты видел
больше.
Ты видел
однажды
смерть...

Мертвых
не принято зря тревожить.
Не надо.
Уйди.
Откажись...
Спросить бы проще:
«Как смерть, Алеша?»

Я спрашиваю:
«Как жизнь?»

Вопрос мой
пусть не покажется вздорным.
Мне это нужно решить!
Той ли я жизнью живу,
за которую
ты перестал
жить?
Верь.
Это мой постоянный
экзамен!

Я все время
сдаю его.
Твоими безжалостными глазами
гляжу
на себя самого.
И этот взгляд
никуда не денешь —
он в каждом идущем дне...
Мне за две жизни
думать
и делать!

Два сердца
бьются во мне!
Не струшу я,
что бы мне ни грозило, —
мне в душу

смотрит солдат!..

Алеша,
я уезжаю в Россию.
Что
 маме твоей
 передать?

Зима тридцать восьмого

Зима тридцать восьмого года.
Декабрь.
Большие холода...
Отец,
 вернувшийся с работы
домой
позднее, чем всегда.
Сейчас он на окне отыщет
большое блюдо холодца.
Сейчас он скажет:
«Вкуснотища!!..»

Но почему-то
 у отца
вдруг ноги подкосились ватно.
И, грузно
 рухнув
 на кровать,
он закричал:
«Не виноваты-ы!»
Из них
 никто
не виноват!!»
О чем он,
 мама?
Что он,
 мама?
Отец – и плачет?!
Отчего?
Он —
 сильный.
Он такой громадный.
Кто может быть
 сильней
 его?!

А мама причитает:
«Тише...»

И повторяет:
«Боже мой...
Услышать могут...»
Что
услышать?!
Мне в том году
пошел
седьмой.
Я больше
ничего не помню.
Стирается
за следом след...
Я этот крик отцовский
понял
не скоро.
Через двадцать
лет.

Мы – политики

Мы – политики.
Да!
Политики.
Каждой мелочью.
Всеми фибрами.
И за будничными кефирами.
И за праздничными пол-литрами.
Собираемся мы
нечаянно, —
дым табачный
стелется низко...
Каждый вечер —
как чрезвычайное
заседанье
Совета Министров.
Здесь становится близким —
дальнее.
Здесь чужое становится —
личным!..
«Как в Свердловске
проблема питания?...»
«Как в Игарке
с вопросом жилищным?...»
Презираем
ответы туманные!
Но отмалчиваться
не разрешаем.

«Как там Франция?»
«Как Германия?»

И опять:
«А что с урожаем?..»
Интонацию вопросительную
мы недаром
 выбрали сами.
Заседаем мы
без президиума,
но зато —
 с оживлением в зале!..

Деловито и непреклонно
возникают над мирными чайниками
доморощенные
 Свердловы,
заикающиеся
 Луначарские!
Шаумяны
 из Архитектурного!
А еще Дзержинские
 с Горного...
Наши споры порой —
непродуманны.
Наши мысли порой —
рискованны!

Только я это слушаю с радостью!
И рискованность такую
славлю! —
Значит, в жизни мы
 разбираемся!
Значит, сильные мы,
 а не слабые!

Значит, мы и вправду —
 огромные,
если жить
не желаем
ощупью!
Значит, все это наше!
 Кровное!
Наше личное.
Наше общее.
Дипломаты мы пусть неважные.
Не чета
седым и прославленным...

скоро
 мель.
Учитель ждет
 решения примеров.
Ребята
 ожидают перемены.
Колхозы
 ожидают перемен.
Разбуженная,
ждушая страна
и целый мир,
 застывший в ожидании...
За нами —
 штормовая тишина!
За нами —
 нашей силы
 нарастание!
Мы ждем открытий.
Мы друзей зовем.
Друг другу говорим
 слова несладкие...
Мы
в зале ожидания
 живем!
Но руки
в ожидании
не складываем!

Переезжает роща

С ума сошла
 роща.
Переезжает
 роща.
Деревья взволнованы,
они кричат:
«Едем!
Со всеми манатками,
с гусеницами мохнатыми,
с росой
 позванивающей,
с жуком-короедом,
с божьими коровками,
с паутинной проседью...
Давайте в кузове машин
присядем по традиции...
А потом

подыдемся.
А потом
 тронемся...
Ну а как —
 с птицами?
Как же быть
 с птицами?
Прилетят птицы
голубыми клиньями.
Над землей забьется
удивленный плеск...
Покружат,
 потужат,
разведут крыльями.
Внизу вместо рощи —
голая плешь...»

А в коридоре поезда,
в коридоре поезда
слышно,
 как колеса
разговор ведут...
Мы едем,
мы едем,
хотя нам тоже
 боязно:
вдруг прилетят радости
и нас
не найдут?

Назым

А у Назыма был голос протяжный.
Руки добрые
были у Назыма.
У Назыма был характер
 бродяжий,
а в глазах была
веселая сила.
Что любил он?
Он любил час,
 в который
можно лишь необъяснимо проснуться.
И увидеть город —
 странный,
 готовый
от мальчишеского солнца

Точно!..
Говорят,
 что были провода щемящи.
Невесомые цветы легли
на плечи.
И звучали похоронные марши.
И текли заупокойные речи.
Он не слушал.
Он лежал.
Смотрел на солнце.
И не шурил глаз —
 наивных и дерзких.
Было гулко.
Было очень высок! о.
Так высок! о,
как бывает только в детстве!..
Потеряла женщина
 мужа.
Потеряла женщина
 сына...

Я не верю в эту смерть,
потому что —
как же может Земля
 без Назыма?

Дипломатам нашим

Ю.Воронцову

Дипломаты,
дипломаты, —
 протокольная работа...

Где-то
на земле громадной
возле самого Тобола —
ветра
 теплое движенье,
тихий голос:
«Сынку...
 Сынку...»
Сын —
как в добровольной ссылке.
Как в бою.
Как в окруженье.
Там не сладко.

Там – опасно.
Там протяжные туманы...
Сын —
 не без вести пропавший.
Все о нем известно маме.
Но приказ —
 суров и точен
(небольшое утешенье) —
сын
 не может,
сын
 не должен
выходить из окруженья...
На конверты смотрит мама, —
буквы ровные – нелепы.
А на заграничных марках
короли и королевы.
Пишет сын,
 что все нормально,
жаль —
 погода утомила...

Дипломаты,
дипломаты —
на переднем крае
 мира!
Дни —
то медленно,
 то быстро,
только никогда не праздну.
Как легко вам ошибиться!
Как вам ошибиться
 страшно!
Это стоит многих жизней.

Есть невидимые нити, —
вы ошиблись —
и ошибся
доменщик с Большой Магнитки.
И ошибся академик.
И скрипач
 смычка не тронул.
У шахтера —
 день потерян.
У хирурга —
 скальпель дрогнул.
Вмиг спокойствия лишились
люди
самых разных званий.

И уже страна
ошиблась!
Вся!
Которая за вами!

Будет флаг багровый биться
и под ветром не сгибаться...
Как легко вам
ошибиться!
Как нельзя вам
ошибаться...
Светятся окошки в МИДе.
Телетайп стрекочет важно...

Что-то завтра будет
в мире,
нервном,
как работа
ваша.

Оптимисты

Оптимисты!
Вас я зову
волноваться,
 недосыпат! Ъ!

Раздувать
молодую зарю!
Поворачивать реки вспять!
От дождей не прятать лица.
Верить
в завтрашнюю строку.
Называть подлецом —
 подлеца.

Хохотать
в глаза дураку!

Предвкушаю вопросы
вздорные,
вижу
бегающие зрачки:
«Оптимисты?
Это
которые?
Говорливые бодрячки?...»
Бросьте!
Мне самому противны

жизнерадостные кретины!

Я —

пока мой час

не истек —

всеми силами,

всем нутром

ненавижу

щенячий восторг!

Презираю

дешевый гром!

Проклинаю

надсадный визг!

И считаю

личной

обидой

бледно-розовый

оптимизм,

показуху

высотных шпилей!..

Сквозь взъерошенную листву

раскаленные трубы

трубят...

Оптимисты!

Вас я

зову!

Настоящих

зову

ребят!

Предъявить на планету

права!

Дать земле

молодую кровь,

разобраться —

почем слова

в самом яростном

из миров.

Мы —

дотошные.

Мы —

громадные.

Наш характер

упрям и ершист.

Не позволим

себя

обманывать

мы —
 которые вышли
 в жизнь!
Это нам,
крутым и бессонным,
миру
будущее дарить...
Мы еще прикурим
 от солнца!
Если только будем
курить.

Ночью

Как тихо в мире!
Как тепло...
А если
в этой тишине
ты —
 мне
 назло,
себе
назло —
устала
думать обо мне!
И номер набрала рывком.
И молча отворила дверь...
Я, может, даже не знаком
с ним —
 постучавшимся теперь.
А если и знаком,
так что ж:
он – чуткий.
У него —
 душа...
И вот
в ладони ты идешь
к нему,
белея и дрожа!
Не понимаешь ничего...
А простыни —
 как тонкий дым...
И называешь
ты
его —
забывшись —
именем моим!

И падаешь, полужива.
И задыхаешься от слез.
И шепчешь жаркие слова.
Все те.
Все самые.
Всерьез!
А сумрак —
 будто воспален.
И очень пьяно
 голове...
Телефонистка – о своем:
«Алло!
Кого позвать в Москве?...»
«Кто подойдет...»
Наверно, ты.
А если он, тогда...
Тогда
пусть вычеркнется навсегда
твой телефон!..
Из темноты
приходит медленная боль.
А я уже над ней смеюсь!
Смешно,
что я вот так
 с тобой

то ссорюсь,
то опять мирюсь!
И мысли пробую смягчить,
весь —
 в ожидании грозы...

Как долго
телефон молчит!
Как громко
 тикают
часы!

Третий лишний

Третий лишний за столом.
Третий лишний...

Ты прости,
я не хочу,
 чтоб он слышал,
как мы шли,

качаясь,
горным Алтаем,
как ловили дождь
иссохшими ртами.
Как вода кипела,
булькала в моторах,
как я писем ждал
твоих,
суматошных.
Как река темно неслась
в закат рыжий...

Третий лишний
за столом.
Третий
лишний.
Я его отлично знаю —
ты не смейся.
Не успел он измениться
за месяц.
Расторопный,
будто пес
на охоте.
Любознательный,
как врач
на обходе.
То нахален,
то
предельно аккуратен...

Очень въедливый
у парня
характер.
Так и лезет в друзья!
Так и липнет!..

Почему-то он везде —
третьим лишним.
Иногда мне его
даже
жалко:
все глядят на парня,
будто на жабу!
Раздраженно смотрят,
тошно
смотрят.
И прощаются с ним.
И руки
моют.

Появление его
 засекают.
Разговоры
при нем
засыхают!
Вот и мне,
 понимаешь,
 неохота...

Пусть рассказывать я буду
про погоду!
Про погоду,
 про сиреневые горы,
про великие
таежные
законы!
Про порог
 под названием
 «Не последний!».
И про дымчатые ноздри
 олений.

И про то, как дождь тугой
бил по листьям...
Третий лишний
 за столом.

Третий —
лишний!
Он настойчив.
Он садится поудобней.
У него, наверно, времени —
 бездна...

Хватит!
Я сейчас скажу ему:
– Толай!!
Для кого-то
 из нас
нет
места!

«Интересуешься искусством...»

Интересуешься искусством?
Великим,
 дерзостным,
 нескучным?

Тогда
поговорим о нем —
о трепетном,
 о неплакатном...
Да, кстати...
Кто там с музыкантом
сидит
 за угловым столом?..
Приятно быть все время в курсе
последних новостей искусства.
Нормального.
Без громких фраз...
Ты слышал?
Он недавно снялся
в кино.
И сразу же зазнался.
И женится
 в четвертый раз...
Гляди:
вон тот поэт высокий
все время бродит сонный-сонный —
конечно, глушит люминал...
Актрисочка.
Почти девчонка.
У ней любовников —
 до черта!
Могу назвать по именам...

Интересуешься искусством?
Возвышенным,
 дразнящим,
 вкусным?

Прозаик
под! ал на развод...
А этот
был с другою летом.
А тот
живет с кордебалетом —
страдает, бедный,
 но живет...

Интересуешься искусством?
Разнообразным,
 а не куцым,
чтоб на любой вопрос —
ответ?..
Актер с любовницей в июне
устроил...

Слушай!
Вытри слюни
и отдохни...
«Искусствовед»!

Парни с поднятыми воротниками

Парни с поднятыми воротниками,
в куртках кожаных,
в брюках-джинсах.
Ох, какими словами
 вас ругают!
И все время удивляются:
 живы?!
О проблеме вашей спорят журнальчики —
предлагают убеждать,
 разъяснять...
Ничего про это дело
 вы
 не знаете.

Да и в общем-то
не хотите знать...

Равнодушно
 меняются
 столицы —
я немало повидал их, —
и везде,
посреди любой столицы
 вы стоите
будто памятник
обманутой мечте.
Манекенами
 к витринам приникшие,
каждый вечер —
проверяй по часам —
вы уже примелькались всем,
 как нищие.

Что подать вам?
Я не знаю сам.
Завлекают вас
 ковбоями и твистами, —
вам давно уже
поднадоел твист.
Вы покуриваете
и посвистываете,
независимый делаете вид.

Может,
 девочек ждете?
Да навряд ли!
Вон их сколько —
 целые стада.
Ходят около —
юные,
нарядные...
Так чего ж вы ожидаете тогда?!.
Я не знаю – почему,
но мне кажется:
вы попали
 в нечестную игру.
Вам история назначила —
каждому —
по свиданию
 на этом углу.

Обещала показать
 самое гордое —
мир
без позолоченного зла!
Наврала,
наговорила с три короба.
А на эти свиданья
не пришла...
Идиотская,
 неумная шутка!
Но история
думает
свое...
И с тех пор
неторопливо и жутко
все вы ждете,
все ждете ее.
Вдруг покажется,
 вдруг покается,
вдруг избавит от запойной тоски!..
Вы стоите на углу,
покачиваясь,
вызывающе подняв воротники...
А она проходит мимо —
история, —
раздавая
 трехгрошовые истины...

Вы постойте, парни.
Постойте!
Может быть,

чего-нибудь
и выстоите.

«Вслушайтесь...»

Вслушайтесь!
Вглядитесь!
Убивают
 время.
Убивают время
 сообща и в одиночку.
Будто бы друг с другом соревнуясь:
 кто скорее?
Убивают в полдень.
Убивают ночью.
Убивают время
 нахально и молитвенно.
Убивают время
 стыдливо и истошно.
Убивают
прямо перед окнами
 милиции!
(Что там
 «перед окнами».
За окнами —
тоже...)
Люди спотыкаются.
 Погоду ругают.
На площадках лестничных
толкнутся вдвоем.
Зазывают в гости.
Так и предлагают:
«Приходите...
 Как-нибудь
 вечерок...
 убьем...»
Люди суетятся.
Люди верят в слухи.
Ссорятся.
Ждут из Саратова
 родных.
Убивают время!
После —
 моют руки.
Чтоб не оставалось крови
на них...
Люди

убивают время отрешенно.
Пухлые портфели загадочно несут.
Убивают
 собственное время.
И чужое.
И никто
 за это
не зовет их в суд.
И никто —
 ни разу! —
 не вручает похоронных.
Мол, «погибло время.
Нужнейшее.
Зазря...»

Падают
 минуты
повзводно
 и поротно.
Начиная
 с самого первого
января...
Мертвые минуты молчат,
 не обижаются.
Мертвые минуты
 выстраиваются в века...
Зачем люди
плачут?
Чего докторам
 жалуются,
что мало успели сделать,
что жизнь —
 коротка?

«Научили...»

Научили
 человека
 разговаривать.
Разрешили:
«Что хочешь, говори...»

Он шагает.
И – одна другой
 коварнее —
мысли
бултыхаются

внутри:
«Можно это вот сказать,
а можно —
 то вот!
Можно так преподнести,
а можно —
сяк...
А в конце пустить
 продуманный
 довод,
чтоб соперники
попали впросак!
Можно тихо начать,
потом напористо
основные вопросы
увязать...»

Он открыл
 было
 рот.
И вдруг опомнился:
«Это что же?
Так вот
взять
и сказать?!»

По ночам
 на человека
давят страхи.
Опасения
уснуть не дают:
«Скажешь
 что-нибудь этакое —
и здравствуйте!
И доказывай,
 что ты не верблюд!
А потом, —
просто так...
 на всякий случай...
Чтоб никто меня за трусость
не корил...
Научили говорить.
А вдруг
 разучат!
И припомнят
все, что я говорил!
Разрешение бы вышло
 доскональное.
Чтоб параграфы.

делая
загадочные позы:
«Рано вам,
 ребятки,
 разбираться
 в таком...»

Рано?!
Лучше рано,
 чем поздно!
В радости
 и горести страны
 мы выросли.

Накрепко!
И сказать по-честному,
если бы все по-старому —
 мы б тоже
 пошли

в Блюхеры,
в Эйхе,
в Тухачевские!
Знаю:
мы б плевали
 на улыбки подлецов!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.